Яблоки из чужого рая

Автор:
Анна Берсенева

Яблоки из чужого рая

Анна Берсенева

Ермоловы #1

И рай может показаться адом, если этот рай – чужой и ты лишь со стороны любуешься яблоками на его деревьях… Так встречает свой сорокалетний юбилей Анна Ермолова. Внешне у нее все обстоит благополучно: муж занимается бизнесом, сама она издает журнал, настолько же изысканный, насколько и популярный, взрослый сын любит ее и уважает. На самом же деле Анна давно уже столкнулась с проблемой многих женщин, которых психологи называют «жертвами раннего брака»: у мужа есть еще одна семья, и в этой семье растет дочь… Как вести себя в такой ситуации? Что лучше – продолжать жить с мужем под одной крышей или остаться в одиночестве? Ответ на этот вопрос Анна находит неожиданно, решив исследовать историю семьи Ермоловых. Ключ к разгадке – в дневнике женщины, которая много лет назад жила в их квартире…

Анна Берсенева

Яблоки из чужого рая

Часть I

Глава 1

Глупость, приснившаяся в ночь накануне дня рождения, почему-то кажется обидной. Особенно если она снится под утро, уже на самой грани пробуждения, и запоминается поэтому во всех своих бессмысленных подробностях.

Анне приснилось, будто она заходит в магазин, который называется «Мандарин», и покупает полотняную, невнятного цвета и к тому же бестолково маленькую сумочку, в которую даже пудреница поместится с трудом. Платит в кассу синие советские двадцать пять рублей и получает сдачу какими-то странными купюрами. На одной из них стоит номинал – сто тринадцать, и эта подробность, вовсе уж идиотская, тоже неизвестно зачем запоминается. Из «Мандарина» она переходит в кондитерскую и долго, как никогда этого не делала наяву, выбирает пирожное. Пирожные все очень мелкие и очень дорогие, и это страшно ее угнетает, хотя ни разу в жизни ей не приходило в голову расстраиваться по такому ничтожному поводу. Потом она замечает в очереди знакомого и долго советуется с ним – все о том же, о выборе пирожного. А потом наконец покупает самое крупное, покрытое толстыми червяками разноцветного крема. Наяву она вздрогнула бы, только увидев такой крем, а уж съесть его ей и в голову не пришло бы. Но во сне она покупает это кошмарное пирожное, успевает заметить, что оно называется «Доппель-дойч»… И наконец просыпается.

Анна проснулась и сразу вспомнила, что ей исполнилось сорок лет. Она родилась рано утром, в шесть часов, а сейчас стеклянный потолок ее спальни светится тусклым ноябрьским светом, и это значит, что уже гораздо больше, чем шесть утра, и день ее рождения уже наступил.

Вот тут-то ей и стало обидно, что приснилась такая огромная глупость, к тому же состоящая из множества мелких, ничтожных глупостей. Как будто жизнь напомнила: все самое яркое, сильное, освещенное глубоким и неназываемым смыслом уже кончилось, и теперь будут только мелочи, ничего не значащие подробности.

Анна никогда не переживала из-за того, что годы идут и уходят. Да она и вообще не считала, будто они уходят. Просто ее жизнь время от времени вступала в какие-то новые состояния, и каждое из них было не лучше и не хуже предыдущего – оно просто было не такое, оно было новое. Потому она и воспринимала свой возраст без отчаяния, из-за чего одни знакомые ей завидовали, а другие думали, что она притворяется.

Но при этом она не умела прогонять от себя неприятные мысли, и знаменитая формула: «Я подумаю об этом завтра», – не казалась ей спасительной. Поэтому из-за дурацкого сна настроение у нее сразу испортилось так, что даже вставать расхотелось.

Она повернула круглую ручку над кроватью, шторы на окнах всколыхнулись, словно вздохнули, и раздвинулись, впуская в комнату еще больше света. Собственно, шторы были даже не на окнах, а на стенах, потому что от стен спальни после произведенной десять лет назад реконструкции остались только угловые опоры, а все остальное, снизу доверху, стало стеклянным, прозрачным и, освобождаясь от штор, создавало ни с чем не сравнимое ощущение: как будто ты просыпаешься так высоко, что над тобою ничего, кроме неба, и вокруг тебя ничего, кроме просторных, как поля, зеленых крыш старого Центра.

Крыши были видны далеко и во все стороны, потому что прозрачную спальню переделали из странной, неизвестного назначения «коробочки», которая торчала на крыше прямо над потолком квартиры. А дом был высокий, выше большинства окрестных домов, вот из спальни и видно было далеко вокруг.

Анна и теперь не могла привыкнуть ко всему этому, а прежде у нее и вовсе дух захватывало от такой запредельной картины. Они с Сергеем даже специально раздвигали все шторы ночью и, не включая свет, сидели на своей широкой, в темноте казавшейся жемчужной, постели и смотрели на звезды, которые светились как будто бы не только над головой, но и вокруг, и под ногами – везде. В те дни Анна как раз перечитывала антологию английской поэзии – редчайшую редкость, каким-то чудом изданную в Ленинграде в тридцать седьмом году, – а в этой книге были стихи Браунинга: «И мы сидели, я и ты, всю ночь, не двигаясь, и Бог ни слова нам сказать не мог…» И она вспоминала эти стихи такими вот ночами, потому что они существовали в мире совершенно отдельно и ни от чего не зависели.

Правда, это было очень давно, в прошлом состоянии жизни. Даже в позапрошлом.

Но и теперь Анне нравилась ее спальня – прозрачная, светлая в любую погоду, вся, от ковра до лампы у кровати, переливающаяся неуловимым множеством пастельных тонов. Поэтому она всегда начинала день с того, что раздвигала шторы и хотя бы несколько минут лежала, пропитываясь светом и воздушным городским простором. Потом задергивала шторы и вставала, зная, что теперь день будет совсем другим, чем был бы, если бы она вскочила в утреннем мраке, непонятно куда торопясь.

Она только в последние десять лет, когда совершенно отпала необходимость рано вставать, поняла, что является абсолютной, бесповоротной совой, которой противопоказан режим жаворонка, даже при катастрофической нехватке времени. Впрочем, ничто и не нарушало теперь ее режим, и времени ей хватало на все.

Телефон зазвонил, когда, уже спустившись из спальни вниз и приняв душ, она пила на кухне кофе, курила и одновременно сушила волосы широким махровым полотенцем.

– Маманька! – Матвей заорал так громко, что Анна засмеялась, покрутила головой и почесала ухо. – Да ты у меня уже совсем старушка! Поздравляю, – радостно добавил он.

– Пока ребенок у меня такой глупый, как будто ему пять лет, – сказала Анна, – я могу считать себя молодой. Матюшка, ну кто тебя научил так поздравлять женщин?

Она всегда улыбалась, когда разговаривала с сыном по телефону. Лицом к лицу-то его приходилось время от времени воспитывать, и вид для этого требовался соответствующий, но по телефону ведь незаметно.

– Каких еще женщин? – хмыкнул он. – Я только тебя в индивидуальном порядке поздравляю. А остальных оптом с Восьмым марта.

Тут Анна не выдержала и засмеялась, потому что представила, какое количество женщин приходится поздравлять ее сыну каждую весну. И правда, оптовая

акция! Хорошего, конечно, мало, но Матвей сообщает об этом так, что только столб не засмеялся бы.

– Расти большая, мамуля, – сказал он. – И такая же юная и прекрасная, как всегда.

– Подлиза! – ответила Анна.

Все-таки Матюшины слова ее растрогали, хотя вообще-то ее не очень беспокоило, юная она или не очень, а уж тем более – прекрасная или обыкновенная. Но в его голосе слышались такие живые и ласковые ноты, что любая женщина растрогалась бы. Неудивительно, что они ходят за ним как завороженные, эти его «любые женщины»!

– Почему это я подлиза? – удивился Матвей. – Подлизам чего-нибудь от подлизываемого нужно, а мне от тебя ничего не нужно, кроме факта твоего существования.

– Ладно-ладно, – улыбнулась Анна. – Отвезешь меня сегодня?

– Куда? – не понял он и тут же вспомнил: – Ой, елки, а я же…

– Если не можешь, то необязательно, – поспешила сказать она. – Я водителя вызову.

– Да ладно! – Анне показалось, что она видит, как ее сын великодушно машет рукой. – Что я, депутата сраного ради мамульки на пару часов не брошу?

– Матвей! – рассердилась Анна. – Сколько раз я тебя просила?

– Ну не буду, не буду, – весело сказал он. – Не сраного, а говенного, если тебе так больше нравится.

– Мне вообще все это не нравится, ты же знаешь, – вздохнула Анна.

– Во сколько за тобой заехать? – спросил Матвей. – Отец звонил?

– В два часа. Не звонил.

– Ну, значит, сейчас позвонит, – сказал Матвей. – В четырнадцать ноль-ноль я как штык у подъезда, перезванивать не буду, можешь прямо сразу спускаться. Или нет, чего это я говорю? Не спускайся – я поднимусь. Пока, мам.

Телефон зазвонил сразу же, как только Анна положила трубку.

– Доброе утро, Аня, – сказал Сергей. – С днем рождения. Не разбудил?

– Здравствуй, Сережа. Спасибо. Не разбудил, – ответила она.

Он помолчал немного, потом сказал:

– Извини, что не наяву поздравляю. Я в Лондоне, в аэропорту. У нас туман. Но обещают к вечеру выпустить. Так что, может быть, еще и наяву успею.

– Вряд ли успеешь, Сережа, – ответила она. – Я ведь тоже сегодня улетаю. В Италию. В два часа Матюшка за мной заедет. Обещал, во всяком случае.

Анна повесила полотенце на вытянутую шею раскрашенной утки. Утка стояла на подоконнике и искоса поглядывала с таким любопытством, как будто глаза у нее были живые, а не деревянные. Анна смотрела утке в глаза и слушала, как Сергей молчит в телефонной трубке. Зря он сказал, что сидит в лондонском аэропорту. Она уже приучила себя не думать о том, где он и когда приедет, и ей стало гораздо легче жить, как только она себя к этому приучила.

– Тогда счастливо тебе. – Голос у него был спокойный, как всегда. – Надолго ты в Италию?

– Не знаю, как получится. Я должна виллы Палладио посмотреть, а их много, так что неизвестно, как с хозяевами договорюсь. И от фотографа будет зависеть – их ведь еще и отснять надо.

Сергей простился. Анна положила трубку и смела со стола длинный столбик пепла, который незаметно упал мимо пепельницы, пока она разговаривала с мужем.

Надо было одеться, причесаться и зайти в редакцию, потому что там ее, конечно, хотят поздравить и было бы свинством не просоответствовать. Благо теперь это нетрудно: у плиты ночь напролет стоять не надо.

Она достала из холодильника черную и красную икру, салаты, разложенные во множество крошечных корзиночек из песочного теста, тарелки с рыбой и мясом, нарезанные замысловатыми фигурками овощи и поставила все это на сервировочный столик, который из-за высоких колес напоминал телегу. Когда-то Анна сама делала корзиночки для салатов по рецепту, которому ее научила майорша Тамара Григорьевна, соседка по белорусскому гарнизону: жарила тоненькие блины, оборачивала ими перевернутые вверх дном майонезные баночки, ставила в духовку, чтобы блины подсушились до состояния твердых формочек… Теперь она просто не представляла, что стала бы делать, если бы пришлось выстряпывать что-нибудь подобное ради собственного дня рождения. Она вообще хотя и не разучилась, но совершенно разлюбила готовить и не видела причин снова влюбляться в это занятие. А корзиночки, как и салаты, продавались готовыми в любом супермаркете, и все можно было заказать на дом, что Анна вчера и сделала.

Вино, фрукты и птифуры на столик не поместились, но это ничего – идти ведь недалеко.

Оделась она тоже быстро. Да и вообще, оделась – это было громко сказано. Анна всей душой приветствовала минималистскую моду последних двух-трех лет: когда стало хорошим тоном выглядеть просто и даже дорогие вещи «на выход» стали напоминать те, в которых она студенткой бегала на лекции, – простые прямые юбки с едва проступающим на ткани узором, крупной вязки неброские свитерочки… Конечно, вся эта нынешняя неброскость, в отличие от тогдашней, стоила денег, и немалых, но с деньгами-то у нее проблем теперь не было, а вот необходимость долго и тщательно выбирать одежду была бы проблемой, потому что такой выбор должен быть потребностью и даже страстью, а ей об этом и подумать было теперь смешно.

Поэтому она оделась за пять минут – в черное до колен платье, о котором сразу, когда увидела его в маленьком венском магазинчике на Кернтнерштрассе, поняла только то, что его простые линии повторяют линии ее фигуры, но при этом, повторяя, каким-то неведомым и незаметным образом делают их совершеннее.

Примерно столько же времени она потратила на прическу и макияж – чуть-чуть ресницы, чтобы выглядели потемнее; чуть-чуть веки, чтобы казалось, будто серые глаза по-прежнему светятся и этот свет выплескивается из них; едва заметный блеск на губы, чтобы они сияли хотя бы так же, как лет десять назад; совсем незаметный лак на волосы, чтобы не разлетались, а сохраняли форму прически, тоже, впрочем, почти незаметную… И все, элегантная женщина готова к появлению среди своих сотрудников в день своего сорокалетия.

Медная кукушка в шварцвальдских часах прокуковала двенадцать раз. В такое время Анна всегда появлялась в редакции, поэтому предупреждать о своем приходе не было необходимости. Она постучала в дверь между кухонным буфетом и холодильником, повернула торчащий в замочной скважине ключ и, катя перед собою уставленный закусками столик, вошла во вторую половину кухни – уже в редакционную.

Глава 2

– Многая лета, многая лета, мно-огая ле-ета! – встретил Анну нестройный хор.

– С днем рождения, Анна Александровна, – добавил Павлик.

Слух у него отсутствовал напрочь, поэтому он не участвовал в женском хоре. Точнее, в трио.

– С днем рождения, Анечка! – Валентина Андреевна на правах старшей и старейшей звонко чмокнула Анну и тут же погладила ее щеку пальцем, оттирая пятно ярко-алой помады. – Ничего, что поздравляем?

– Почему – ничего? – удивилась Анна. – Спасибо, что поздравляете.

– Ну и умница, – кивнула Валентина. – А то сейчас неизвестно откуда мода взялась, что, мол, с сорокалетием нельзя поздравлять.

– Это мужчин нельзя, – уточнила Рита. – У них, считается, кризис среднего возраста. А нам все можно.

Арт-директор Рита работала в «Предметном мире» всего месяц и была моложе всех: ей неделю назад исполнилось двадцать два. Весь этот месяц она поглядывала на своих коллег – и на хлопотливую, вечно одетую в вытянутые трикотажные кофты Валентину, и на нескладного Павлика, об одежде которого уж и вовсе говорить не приходилось, и на прокуренную, хриплоголосую Наташу – с легким недоумением. Видимо, не могла понять, как можно держать в современном, с высокими окладами журнале таких маргинальных, притом старомодно маргинальных личностей.

Анна понимала, что со временем ей, наверное, придется объяснить Рите, что здесь к чему и почему. А может быть, и не придется: Рита выглядела девушкой сообразительной, и не исключено было, что она сама во всем разберется.

Наташа Иванцова чмокать Анну не стала, но приобняла ее за плечи и весело шепнула на ухо:

– Не переживай, Нюра, какие наши годы!

– Я не переживаю, – улыбнулась Анна. – Павлик, зайди ко мне на кухню и принеси все остальное из холодильника.

– Что именно принести? – уточнил педантичный Павлик.

– Все, что там находится. – Его наивная педантичность большинство женщин, может быть, и раздражала, недаром же в тридцать три года Павлик не был женат, но Анну только смешила иногда. А чаще она просто не обращала на это его качество внимания, потому что давно к нему привыкла. – Рита, пойди, пожалуйста, с ним и выбери вино. Бутылки на кухне, в подставке. Только не взбалтывай.

– Знаю, – снисходительно кивнула Рита.

– Ой, лучше я с Ритой схожу! – вскинулась Валентина Андреевна. – Он разобьет что-нибудь. Павлик, а букет?! – ахнула она. – Ну ничего тебе нельзя поручить, еще называется мужчина!

– Он не называется, – сказала Анна, – а является. А букет уже у меня на столе, и я его прекрасно вижу. Спасибо.

– Да, это вам цветы, Анна Александровна, – не обратив внимания на обидное Валентинино замечание и даже, кажется, его не услышав, кивнул Павлик. – Цветы и колоски.

Букет, скорее всего, заказывала Рита. И уж точно, что не Павлик, хотя преподносить «цветы и колоски» поручили ему, как единственному мужчине. Это был настоящий летний полевой букет, тех самых пастельных тонов, которые Анна любила. Даже крошечные голубые цветочки, которые она знала под названием «мужская верность», тоже были в этом букете. Правда, в природных условиях эти цветочки облетали от одного дуновения, потому, наверное, так и назывались, а эти, внешне в точности на них похожие, держались крепко.

Во всем букете только купальница была яркой, но и ее цветы, некрупные желтые колокольчики, выглядели такими нежными, почти прозрачными, что не нарушали, а подчеркивали общую тихую гармонию. Где можно было достать в Москве ко второму ноября полевые цветы и зеленые овсяные колоски, Анна не представляла. Впрочем, теперь в Москве можно было достать все, чего душа пожелает. Лишь бы она вообще чего-нибудь желала…

Да, пожалуй, и прежде многое можно было достать. Марина Эдуардовна, соседка еще по Ломоносовскому проспекту, рассказывала, как встречали какой-то предвоенный Новый год на никологорской даче и артист Яхонтов привез ночью, в метель, обернутый рогожей куст цветущей белой сирени – прямо туда, на Николину Гору. Да, тридцать седьмой год встречали, точно. Через месяц родителей Марины Эдуардовны арестовали, ее отдали в детдом, и тот белый цветущий куст остался последним счастливым воспоминанием ее детства.

Все это мелькнуло у Анны в голове мгновенно, как всегда сами собою, без надобности, мелькали такие вот живые воспоминания.

– Спасибо, – повторила она. – Жаль, до моего приезда не достоят – нежные такие…

– Достоят, – убежденно сказала Наташа. – Ты же не навечно в свою Италию едешь. А они в какую-то подставку воткнуты, которая черт знает чем пропитана.

До второго пришествия достоят, не то что до твоего приезда. Да что вы – одни цветуечки! – вспомнила она. – Валюха, ты подарок-то доставай.

Подарок Валентина и так уже достала и тут же набросила его Анне на плечи.

– Ты же носишь шали, Анечка, – сказала она. – А эта авторская, эксклюзивная, ее Рогинский в единственном экземпляре расписал.

Эмиль Рогинский был художником по ткани, они несколько раз писали о нем и давали съемку, поэтому в эксклюзивности всего, что он делает, сомневаться не приходилось.

– Символы бесконечности мироздания, – усмехнулась Рита, заметив, что Анна рассматривает узоры на шали – загадочные бронзовые сплетения на фиолетовом фоне. – Магические к тому же. Бред, по-моему, но смотрится стильно, особенно на вас. Правильный платочек! Пойдемте, Павел Афанасьевич, за продуктами, – бросила она.

Рита всегда называла Павлика по имени-отчеству, видимо, не относя его к числу тех, кого до старости лет можно называть молодо, одним только именем, как это принято у правильных людей.

– Через кухню иди, Рита, не надо кругом, – сказала Анна, заметив, что та направилась к выходу.

В обычные дни кухонной дверью, соединяющей две соседние квартиры, пользоваться было не принято, и сама Анна тоже всегда входила в редакцию с лестничной площадки. Но сегодняшний день хоть и казался ей совершенно обычным, все-таки считался ее праздником, поэтому можно было изменить правилам. К тому же Павлик и правда мог разбить бутылки с вином, если бы понес их длинной дорогой.

– Как тебе идет-то, Аннушка, – заметила Валентина. – Вот я накинь шаль – и тетка теткой, только носки вязать. А ты стройная, изящная такая, и все тебя молодит. Ты под нее парюру свою надевай, – добавила она. – Ту, с яхонтами. Редко носишь, а зря, вещь старинная, второй такой небось и нету.

– С яхонтами! – хмыкнула Наташа. – Изъясняешься ты, Валюха, как в пятнадцатом веке. Еще скажи, с лалами. Нормальные гиацинты. А не носишь и правда зря, – сказала она уже Анне. – Если б мне моя жаба хоть какую свою драгоценность отжучила, я б ее, кажется, в нос воткнула и на ночь не вынимала. У тебя вон и свекровь человек, а моя: «Раньше считалось, Натали, что бриллианты до сорока лет носить неприлично, а лучше всего они вообще смотрятся на старухах», – передразнила она тягучие интонации свекрови. – Раньше! Когда это, интересно, раньше, при большевиках, что ли? Можно подумать, она не за членом Политбюро всю жизнь прожила, а за потомственным дворянином! Одно слово, жаба.

Свекровь была единственным человеком, которого Наташа презирала еще больше, чем мужа. Однако и муж, и его мамаша были в то же время людьми, которых она терпела с редким для себя постоянством. Наташа прекрасно понимала, что только в качестве их родственницы имеет доступ к сильным мира сего, а значит, имеет возможность верно применять свое грубоватое обаяние, а значит, является незаменимым менеджером по рекламе. Конечно, Анна не выгнала бы Наташу, даже если бы та вдруг развелась со своим ныне влиятельным супругом или рассорилась с его в прошлом влиятельными родственниками. Но Наташа все-таки предпочитала перестраховаться – знала, что умение добывать рекламу является единственным умением, которым она, женщина за сорок, имеющая специальность невестки члена Политбюро, может похвастаться в новой жизни. Впрочем, Наташе можно было поручить любое дело, связанное с общением: она умела уговорить кого угодно и на что угодно.

– А ты прямо сейчас парюру и надень, – предложила Валентина. – Ну надень, Аннушка, что тебе стоит! Праздник же у тебя.

– Хорошо, – кивнула Анна. – Действительно, у меня праздник.

Она вернулась к себе в квартиру, столкнувшись на пороге с Ритой и Павликом, которые уже возвращались, нагруженные бутылками и закусками, и быстро прошла к Сергею в кабинет. Яхонтовая парюра – кольцо, серьги и брошь, – двадцать два года назад подаренная ей к свадьбе Антониной Константиновной, лежала в музыкальной шкатулке. Она и всегда там лежала, и шкатулка всегда стояла на огромном столе из карельской березы, рядом с выточенной из черного дерева головой мавра в чалме. Сергей когда-то утверждал, что мавр – это Отелло, а деревянная танцующая одалиска, которая стоит рядом с ним на столе, это переодетая Дездемона. Но Анна однажды нашла фотографию точно такой

же мавровой головы в справочнике по материальной культуре начала двадцатого века. Оказалось, что мавр всего-навсего украшал витрину табачного магазина, потому у него между ярко-алых лакированных губ и просверлена дырочка для сигары. Сергей тогда посмеялся и сказал, что плохо иметь ученую жену: в доме не остается места ни для одного ревнивца, даже для деревянного.

Анна открыла шкатулку и под первые такты незамысловатой мелодии достала из нее украшения. Они и в самом деле прекрасно подходили к шали – и по цвету, и по ощущению подлинности, бесценной единственности, которое сразу создавали. Крупные желтые гиацинты были вправлены в филигранную оправу из темного старинного золота, и тонкие кружева этой оправы можно было рассматривать так же долго, как узоры на шали, которые действительно напоминали о бесконечности мироздания.

Анна подняла волосы вверх, чтобы видны были серьги, а брошкой сколола на плече шаль. Конечно, желтые камни больше подошли бы не к ее серым, а к каким-нибудь карим, медовым, золотым глазам, поэтому она почти и не надевала парюру. Но, с другой стороны, такие украшения мало кому не идут, на то они и дорогие, и старинные.

Она закрыла шкатулку, оборвав мелодию, и вернулась в редакцию.

Вещи были собраны еще с вечера, поэтому Анна снова появилась дома без четверти два – только чтобы успеть переодеться в дорогу. Женское трио вместе с Павликом осталось праздновать юбилей начальницы: номер только что сдан, следующий начнут собирать уже после ее возвращения, в общем, гуляй не хочу.

Правда, заметив, что Анна уходит, Павлик остановил ее умоляющим возгласом:

– Анна Александровна, а фабрики мои как же? Может, пока вас не будет, мы с Лешей все и отсняли бы?

Анна только вздохнула: не удалось улизнуть незаметно! Когда речь шла о его обожаемой советской архитектуре, Павлик проявлял поразительную расторопность и даже хитрость, вовсе уж ему несвойственную. Правда, он действительно написал прекрасную статью о фабричных зданиях пятидесятых годов, но Анна все-таки сомневалась, надо ли ее ставить в следующий номер и тем более заказывать под нее дорогую съемку. Все-таки очень уж

специфическая тема…

– Павлик, может, повременим пока? – спросила она, без особенной, впрочем, уверенности.

Расслышав ее нетвердые интонации, Павлик тут же принялся бессовестно дожимать начальницу.

– Как же – повременим? – с жаром возразил он. – Самое время сейчас – осень, все в золоте стоит… Вы бы видели эту фабрику в Карабанове, красный кирпич, неописуемая ведь красота!

– Да уж представляю… – пробормотала Анна.

Что хорошего нашел интеллигентный Павел Афанасьевич в советском фабричном стиле, она не понимала. Но зато понимала, что если такой глубоко и тонко чувствующий человек, как он, так горячо чем-то увлечен, то это дорогого стоит.

– Ладно, Павел Афанасьевич, – вздохнула она. – Поезжай в свое ненаглядное Карабаново с Лешей, если он свободен. Скажи, что оплатим по обычным его расценкам.

Фотограф Леша Разин не мог быть свободен по определению, потому что всегда был завален заказами на рекламную съемку от всех западных фирм, работающих в Москве. Однако в Анниных словах не было ни капли лукавства: она знала, что на самые бредовые просьбы Павлика, вроде этой, о поездке в какую-то дыру для съемки фабричных бараков, Леша никогда не ответит отказом. Такой уж человек был Павел Афанасьевич.

Как только она вернулась домой, зазвонил телефон.

– Анечка! – услышала Анна радостный мамин голос. – Как хорошо, что застали! Это папа высчитал, – объяснила мама, – что вечером у тебя наверняка банкет, утром ты в редакции будешь поздравляться, а сейчас, значит, дома – перышки чистишь. Правильно угадал?

– Правильно, – улыбнулась Анна. – Как хорошо, что дома застали!

Она действительно этому обрадовалась – иначе пришлось бы объяснять маме, почему не празднует юбилей, да неужели нельзя отложить командировку на пару дней, да ведь Сережа может обидеться, что она уезжает в день своего рождения… Родители жили в Канаде уже пятнадцать лет – уехали сразу, как только чуть-чуть приоткрылись границы, – поэтому, к счастью, у Анны не было необходимости посвящать их во все обстоятельства своей жизни. В Москву они не приезжали, ссылаясь на реку, в которую лучше в преклонном возрасте второй раз не входить, Анна бывала у них в Торонто раз в год, Матвей тоже время от времени навещал бабушку с дедушкой… Два раза, во время случайных канадских командировок, заезжал Сергей. В общем, родители были вполне довольны тем, как живут их дочь, зять и внук. Как, впрочем, и те, кто общался с Ермоловыми не раз в год, а чаще.

«Вот и отлично, – подумала Анна, кладя трубку после радостных маминых и папиных поздравлений. – Родители отзвонились – можно лететь».

Правда, еще не позвонила свекровь, но это уже неважно: Антонине Константиновне ничего объяснять не надо. И скрывать от нее нечего.

Поэтому Анна со спокойным сердцем слушала, как щелкает замок входной двери. Ее точный как король сын прибыл ровно в два часа, чтобы отвезти маму в аэропорт.

– Матюша! – засмеялась она, увидев, как он протискивается в кухонную дверь. – И что я с этим буду делать?

Букет, который Матвей держал в охапке, напоминал то ли клумбу, то ли цветущие альпийские отроги: он состоял из немыслимого количества благоухающих чайных роз.

– Отец сказал не забыть цветы – я не забыл, – гордо заявил ребенок. – Ну у тебя, мамань, и вопросы! Что будешь делать… А что ты обычно с цветами делаешь, у метро продаешь?

– Да ведь жалко, я же уезжаю, зря будут стоять.

– Ничего, перед отъездом полюбуешься, – махнул рукой Матвей. – А подарок, отец сказал, у него в столе взять. Принести? – каким-то мимолетным тоном спросил он.

– Конечно, – кивнула Анна. – Принеси, раз отец сказал.

Подарок от Сергея, как нетрудно было предположить, оказался очень дорогим, изысканным и совершенно нейтральным. Это было ровно то, что преуспевающий мужчина и должен дарить супруге на сорокалетие: элегантные швейцарские часики – белое золото, бриллианты, изумруды.

– Ничего такие брюлики, – хмыкнул Матвей. – К глазам тебе идут. А эти, зеленые, что за камешки?

– Бриллианты всем идут. – Анна вспомнила слова Наташиной свекрови. – Всем женщинам после сорока, и особенно старухам. А зеленые – это изумруды. Они к твоим глазам больше подошли бы.

– Буду у тебя их брать поносить по праздникам, – заверил Матвей.

Глаза у него были зеленющие, ну просто как весенняя трава. «Подзаборная», – всегда уточнял он. Даже непонятно было, как у сероглазых родителей мог появиться такой ребенок. У Анны, например, вообще не было ни одного зеленоглазого родственника. Правда, свекровь говорила, что именно такие, зеленые, глаза были у ее отца, но Анна не очень в это верила. Когда отец погиб на фронте, Антонине Константиновне едва исполнилось шесть лет, вполне могла забыть, какие у него были глаза, и досочинить потом, в качестве легенды. Тем более что от него и фотография сохранилась всего одна, присланная с фронта, и по ней нельзя было разобрать такие подробности, как цвет глаз.

Правильнее было бы думать, что зеленые глаза были у Сергеева отца, но о нем свекровь не говорила ничего и никогда. Замужем она не была, родила, как предполагала Анна, в результате правильно организованного курортного романа, единственной целью которого являлся ребенок. Отчество у Сергея было по деду – Константинович. Но и то сказать, когда мужчине сорок пять лет, не все ли равно, от кого и почему он родился? Говорят ведь, что даже лицо у человека только до тридцати лет такое, какое «сделали» родители, а после тридцати он за свое лицо отвечает сам.

Куда больше Анну интересовала сейчас внешность сына.

– А что это у тебя на щеке? – заметила она.

Об этом можно было и не спрашивать. У Матвея на скуле, прямо поверх тоненького светлого шрама, который остался после того, как он, годовалый, упал в смородиновый куст, красовался желто-фиолетовый синяк.

– Да ничего особенного. – Он пожал плечами. – Обычный фингал, на тренировке звезданули.

– Все-таки лучше бы ты и дальше плаванием занимался, – вздохнула Анна. – Что это вообще за спорт такой, рукопашный бой? Есть в нем хоть какие-нибудь правила?

– Есть, есть, – засмеялся Матвей. – Максимально приближенные к реальности. И зачем мне еще лучше плавать? На Канарах отдыхать – навыков уже хватает, а если так, по жизни непонятки какие, то плавай, не плавай, далеко не уплывешь. – И, не дав маме высказать свое отношение к таким его жизненным перспективам, мальчик благоразумно сменил тему. – Ну как, мам, разгадала наконец ребус? – поинтересовался он, стряхивая пепел в плоскую фаянсовую пепельницу.

Пепельница была того же происхождения, что и все в этой квартире – и деревянная утка, и табачный мавр, и музыкальная шкатулка… Наверное, когда-то пепельница принадлежала отцу Антонины Константиновны. А ребус, который был на ней изображен, Анна разгадать не могла, как ни старалась. Она не понимала, каким образом связаны между собою нота ре, слон, дама в шляпке-загогулине, мужчина с разинутым ртом… Матвей, с его врожденной сообразительностью, разгадал ребус, когда ему было лет восемь, и с тех пор издевался над маминой бестолковостью. Сергей, конечно, тоже знал, что написано на пепельнице. Когда-то Анна, смеясь, просила мужа, чтобы объяснил и ей, но это было так давно, что уже забылось. Почти забылось.

– Не разгадала, – с притворным сожалением вздохнула она. – Когда-нибудь ты все-таки не выдержишь материнских страданий и сам мне расскажешь. Матюша, я готова.

– Всегда ты, ма, вовремя готова, – заметил Матвей. – Хоть бы раз куда опоздала!

– Ты так говоришь, как будто это мой огромный недостаток, – обиделась Анна. – А сам, интересно, что делал бы, если бы приехал, а я не готова?

– Да ничего, – пожал плечами Матвей. – Подождал бы. Я однажды за девчонкой заехал – мы с ней в ночной клуб собирались, а она только в ванну влезла, – так, пока ее ждал, целый «Космополитен» успел прочитать.

– Почему именно «Космополитен»? – засмеялась Анна.

– А больше у нее не было ничего, – объяснил Матвей. – Ну, скажу тебе, журнальчик! У меня к сто пятидесятой странице вообще крыша уехала. Как все равно инструкцию к стиральной машине читаешь. «Одна моя подруга купила к весне новую сумочку и завела нового бойфренда, так вот она мне посоветовала… а я тебе советую…» – смешно пропищал Матвей. – Еще удивляются, почему я на них не женюсь! Я там, правда, ценный совет обнаружил, – вспомнил он. – Что от поноса, оказывается, «Спрайт» помогает. И точно, помогает! Только газы выбалтывать надо. Я недавно попробовал, когда шашлыков недожаренных наелся. Хочу вот благодарное письмо в редакцию написать.

– Поехали, маленький, – поторопила Анна. – Помнишь, тетя Фая говорила: «Пусть лучше я подожду поезда, чем он меня не дождется»?

Тетя Фая когда-то жила этажом ниже Ермоловых. Десять лет назад она уехала к младшему сыну в Израиль, но ее бессмертные высказывания до сих пор бытовали среди соседей как фольклор.

– А меня ты почему про подарок не спрашиваешь? – помолчав, спросил Матвей.

– Я думала, ты мне цветы подарил, – удивилась Анна.

– Хорошенького ты мнения о сыне! – хмыкнул он. – Я что, для того при депутате своем балду пинаю, чтоб родной матери на юбилей растительность дарить?

– Не знаю я, что ты при своем депутате делаешь и тем более для чего, – вздохнула Анна.

– Это долго объяснять! – отмахнулся Матвей. – Держи лучше подарок.

Он вышел в прихожую и вернулся, держа в руке коробку, обтянутую малиновой кожей. Открыв ее, Анна обнаружила лежащее на бархате зеркало. Оно было овальное, настольное, явно ручной работы и такое, что смотреть на него хотелось больше, чем в него.

Зеркало было обрамлено серебряным цветочным венком. Цветы в этом венке были простые, луговые – ромашки, лютики, васильки; как раз такие, которые Анна любила и которые ей сегодня подарили в живом букете. В некоторые из этих серебряных цветов были вставлены неограненные камни – синие аквамарины, зеленые хризопразы, сиреневые аметисты…

Но еще более необычное впечатление производила подставка, на которой зеркало должно было стоять на столе. Она представляла собою две женские скульптурные фигурки, тоже серебряные. Они держали зеркало и при этом сами в него заглядывали, одна с восхищенным, а другая с сердитым и даже, как показалось Анне, завистливым выражением лица – как будто оценивали того, кто будет в это зеркальце смотреться. Конечно, это была не просто ручная, а потрясающая старинная работа. Анне не приходилось видеть работы современной, в которой лица были бы так выразительны. И где только Матвей откопал такое невероятное явление?

В этом подарке как будто бы отразился весь ее мальчик – неунывающий, бесшабашный, уже от нее отдельный, и все-таки ее любящий, и как-то совсем по-взрослому нежный с нею… Анна чуть не заплакала, глядя на это зеркальце.

– Ну что ты, мам? – расстроился Матвей; наверное, она все-таки шмыгнула носом. – Совсем не нравится?

– Очень нравится, – скрывая слезы, улыбнулась она. – Просто мне грустно сознавать, что ты уже такой взрослый…

– Ну и что, что взрослый? Глянься в зеркальце – ты же все равно еще молодая, – заметил он и добавил со смешной важностью: – Все-таки от ранних детей только

поначалу одни заморочки, а потом и радости тоже бывают. Ладно, мамуль, поехали, – сказал Матвей, вставая. – А то во Внуково еще пилить и пилить, к тому же пробки.

Глава 3

– У тебя что, опять новая машина? – ахнула Анна, выходя из подъезда.

– Какая же она новая? – Ребенок сделал честные глаза. – Да этому «бумеру» в обед сто лет!

– Не ври, пожалуйста, – суровым тоном возразила она. – Я, по-твоему, совсем дремучая? И не сто лет, а максимум три года, и вообще, я не о возрасте ее говорю. У тебя же неделю назад «Мерседес» был!

– Был да сплыл, – элегически промолвил Матвей. – Ничто не вечно под луной.

– И номера какие-то странные, – заметила Анна, обходя вокруг сияющего черного «БМВ».

– Не странные, а просто ростовские, – объяснил он. – Ну, мам, земеля моего депутата продавал по дешевке, а в Ростов тащиться, чтоб с учета снять, ему было влом. Я и купил по доверенности. И какая мне разница, ростовские номера или московские? Смотри, хороший какой «бумер», а летает как! С места двести идет, красавец, сейчас сама увидишь. – Он забросил в багажник чемодан и распахнул переднюю дверцу. – Прошу, мадам!

– Двести с места, пожалуйста, не надо, – сказала Анна. – И не с места тоже.

Впрочем, ехать по Малой Дмитровке со сколько-нибудь ощутимой скоростью все равно было невозможно. Времена, когда это была сравнительно тихая старинная улица, давно прошли. Теперь она в любое время дня была запружена машинами, и даже на последнем этаже дома, в котором жили Ермоловы, из-за шума невозможно было бы спать, если бы не стеклопакеты в окнах.

Меньше всего хотелось занудствовать, глядя в Матвеевы смеющиеся глаза, но следовало воспользоваться тем, что в ближайший час мальчик уж точно никуда не денется и не избежит воспитательной беседы.

– Матвей, когда ты последний раз был в университете? – тем же тоном, каким она расспрашивала про новую машину, поинтересовалась Анна.

– Ну, когда… – недовольно протянул он. – Сравнительно недавно.

– Сравнительно с чем? – не отставала она. – А недавно – это когда?

– Мамуль, ну какая тебе разница? – Матвей явно не собирался воспитываться.

– Разница мне такая, что тебя выгонят и ты останешься без диплома.

– Мам, я уже усвоил всю теорию, которой меня могли научить на этом факультете вашей альма-матер. – Он наконец перестал улыбаться, и взгляд у него стал сердитый. – Теперь я сравниваю теорию с практикой. А если мне когда-нибудь понадобится диплом, я его куплю.

– Но почему нельзя просто написать дипломную работу и закончить пятый курс? – возмутилась Анна. – Почему обязательно надо доводить до крайности? А если в самом деле выгонят? Ведь в армию заберут! – привела она самый убедительный довод.

– Не заберут. – Матвей махнул одной рукой, а другой лихо крутнул руль, поворачивая на Тверской бульвар. – Меня депутат отмажет.

– Я понимаю, о чем ты думаешь. – Анна решила донять его не мытьем, так катаньем. – Мамаша – нудная тетка, жизни настоящей не знает, в молодых делах ничего не понимает, лезет с нравоучениями, дай Бог вытерпеть! Но ведь я…

– Ничего я такого не думаю, – улыбнулся Матвей. – Я тебя, маманька, нечасто вижу, так что ты меня воспитывай, пожалуйста, хоть всю дорогу, не стесняйся. Я с удовольствием слушаю.

Анна только вздохнула. Если сын был в чем-то прав, то только в том, что, наверное, и вправду уже усвоил все, чему могли его научить на факультете госуправления МГУ. Способностей у него оказалось вполне достаточно, чтобы учиться играючи и даже вполне прилично сдавать сессии. Во всяком случае, до второго курса, после которого он объявил родителям, что будет жить отдельно, чтобы не травмировать их психику своим образом жизни.

Если бы их с Сергеем отношения складывались иначе, Анна ни за что не позволила бы мальчику начинать самостоятельную жизнь так рано. Но неизвестно еще было, кто кому травмирует психику, и она не смогла возразить… Матвей перебрался в маленькую квартирку, которую дедушка и бабушка купили «на вырост» внуку, когда продали свою, профессорскую, уезжая в Канаду. Квартирка эта находилась на Ломоносовском проспекте; Матвей уверял, что оттуда ему проще будет ходить в университет. И вот пожалуйста, этого и следовало ожидать: диплом на носу, а Анне звонит его куратор – еще спасибо этой даме, она же все-таки не классный руководитель, могла бы и не беспокоиться! – и сообщает, что сын на грани отчисления.

– Если бы я думала, что тебе это стоит хоть каких-то усилий, – вздохнула Анна, – может, я не настаивала бы. Но я же знаю, что ты можешь написать диплом за неделю! Можешь, но не хочешь сделать эту малость – ну, хотя бы только потому, что я тебя об этом прошу. Или у тебя сессия не сдана? – догадалась она.

– Не сдана, – нехотя согласился Матвей. – И не одна. Мам, только не говори, что без высшего образования жить невозможно. Сейчас невозможно жить без совсем других вещей.

Он произнес это таким уверенным тоном, что Анна растерялась. Она всегда терялась, когда вдруг посреди разговора понимала, что собеседника бесполезно убеждать в том, в чем сама она убеждена совершенно, потому что он-то как раз всей своей жизнью убежден в совершенно обратном. Но она не предполагала, что таким собеседником может оказаться не какой-нибудь посторонний человек, которого неизвестно кто и неизвестно как воспитывал, а ее единственный сын. Понятно, что ему всего двадцать два года, и понятно, что в этом возрасте половину убеждений составляют глупости, основанные на поверхностном опыте, но все же…

Она молчала, глядя, как мелькает за окном длинная громада Дома на набережной. Машина уже миновала Большой Каменный мост и неслась теперь к

Ленинскому. Удивительно, но Матвей все-таки умудрялся ездить быстро даже в будничных пробках центра Москвы. Впрочем, удивляться этому не приходилось: все-таки ему было лет тринадцать, когда Сергей научил его водить «Жигули», а за то лето после первого курса, когда Матвей гонял машины из Калининграда, он стал просто асом. Анна тогда ночей не спала, представляя всякие ужасы, самым малым из которых были придорожные бандиты, но ребенок уперся как осел и ни за что не хотел бросать свое восхитительное денежное занятие. Он вообще был упрямый, с самого детства, и теперь тоже – с этим своим странным нежеланием просто взять и написать диплом…

– Не переживай, ма, – успокаивающе произнес Матвей, ловя ее взгляд в водительском зеркальце. – Ну что ты, в самом деле, ничего же у меня страшного!

«Страшного, может быть, и ничего, но все и у тебя могло быть по-другому», – подумала Анна и спросила:

– А папа знает про твои сессии?

– Знает, – пожал плечами Матвей.

– И что говорит?

– Да ничего особенного. Что я взрослый человек и в состоянии сам отвечать за свои поступки. Так ведь и я о том же! – горячо подтвердил он.

– Лучше бы… – начала было Анна, но тут же замолчала.

Какой смысл рассуждать о том, что было бы лучше, когда все есть так, как есть, и уже не сложится иначе?

– Оба-на! – вдруг воскликнул Матвей. – Так я и знал! И чего ты из Шереметьева не летишь, как все люди? Далось тебе это Внуково. Мало того что аэропорт колхозный, так еще – пожалуйста…

– Но я же не специально, – растерянно проговорила Анна. – Просто из Внукова рейс был удобный.

– Вот тебе и все удобство. – Матвей кивнул подбородком на длинную шеренгу машин, неподвижно стоящих впереди. – Не слышала, президент никуда лететь не собирался?

– Понятия не имею, – вздохнула Анна. – Меня он, во всяком случае, о своих планах не информировал.

– А он никого не информирует, – усмехнулся Матвей. – Я однажды в точно такой же пробочке два с половиной часа парился, пока он с Рублевки не выехал. И, главное, на Кольцевой дело было – ни туды, ни сюды. Говорят, дамочку какую-то муж в роддом вез, так самому пришлось роды прямо в машине принимать. Ладно! – вдруг решительно произнес он. – Тут, слава Богу, не Кольцевая!

Матвей резко вырулил на пустую встречную полосу и понесся вдоль вереницы стоящих машин. Анна даже зажмурилась на мгновенье – представила, что сейчас им навстречу выскочит милиция или, того хуже, какая-нибудь, в самом деле, президентская охрана… И что тогда будет?

Но навстречу им никто пока не выскакивал. Они все мчались и мчались вдоль пробки, растянувшейся по всему Ленинскому проспекту, а встречная полоса по-прежнему была пуста – Анне казалось, что как-то зловеще пуста.

Матвею, правда, так не казалось.

– Нет, не президент, – уверенно заявил он, подмигивая своей растерянной маме. – А то б в нас уже стреляли. – И тут же завопил, предупреждая ее испуганный возглас: – Я шучу, шучу! Не бойся, мам, это так, мелкая шушера какая-нибудь в свое Внуково едет. Летит небось в Эмираты пузо греть, и как же без понтов? Ага, вот и граждане начальники. Погоди, я сейчас.

Он остановился, выскочил из машины и быстро пошел вперед – туда, где виднелся ряд милицейских мигалок.

Анна тоже вышла из машины, не зная – может быть, надо пойти за ним? Вдруг он начнет скандалить, влезет в какие-нибудь неприятности?

Но уже через пять минут она увидела, что сын бежит обратно и на ходу машет ей, чтобы садилась в машину.

– Я же говорил, мелкая шушера, – удовлетворенно заявил он, хлопая дверцей и срываясь с места – и вправду, показалось, что сразу со скоростью в двести километров. – А не обманул меня депутат, ксиву сделал крутую.

– Все-таки это так неправильно… – медленно проговорила Анна.

– Что неправильно? – удивился Матвей.

– Да вот то, что ты – обычный мальчик, которому хочется похвастаться, пусть и перед мамой, – запросто проезжаешь там, где взрослые люди проехать не могут. А они, может быть, опоздают на самолет, у них, может быть, все планы из-за этого нарушатся…

– Что поделаешь, так мир устроен! – засмеялся Матвей.

– Я очень рада, что ты цитируешь Толстого, – улыбнулась Анна, – но должна тебя разочаровать, ребенок: весь остальной мир устроен совершенно иначе. Во всяком случае, в разумной его части.

– Ты мне позвони, как до разумной части долетишь, – попросил Матвей. – Только звони на трубу, вряд ли я дома буду. Папа правда в Лондоне, ма, – сказал он, помолчав. – И он правда хотел сам тебя поздравить, но туман…

– Да. Туман, – машинально сказала Анна и тут же спохватилась: ей не хотелось, чтобы в ее голосе сын расслышал какие-нибудь ненужные интонации. – Матюша, если уж ты взрослый человек, то папа и подавно. И отчитываться передо мной не обязан. В Лондоне так в Лондоне.

– Позвони, – повторил Матвей. – И не грусти. Ты на свете всех милее. Для меня так уж точно.

Глава 4

За последние десять с лишним лет Анна объездила всю Европу, но единственной страной, в которую она приезжала как домой, была Италия. Она даже себе самой не могла объяснить, почему именно Италия, а не, например, Австрия – она ведь любила Вену с ее глубокой, живой элегантностью, или не Франция – Париж был единственным городом, в котором она чувствовала какую-то отточенную, доведенную до совершенства и тоже необыкновенно живую грандиозность. Но Италия – это было совсем другое. Это была печаль, и счастье, и любовь, и трепет в сердце, и слезы в горле, и все то, что у Анны всегда связывалось с понятием сильных чувств – то есть жизни. А почему, не объяснишь.

Она даже итальянский язык выучила, хотя в этом не было никакой практической необходимости. Для ее деловых контактов, да и просто для общения, вполне хватало английского: ей еще не встретился в Европе ни один интеллигентный человек, который его не знал бы. Но язык был едва ли не самой главной частью той загадки, которую составляла для нее Италия. Он был так же неуловимо прекрасен, как дымчатая линия холмов на горизонте, и так же что-то говорил сердцу, кроме прямого значения произносимых слов, как эта линия говорила что-то, кроме того, что улавливал глаз.

На этот раз командировка намечалась длительная. Архитектор Андреа Палладио построил для аристократов шестнадцатого века несколько десятков загородных вилл, и одна была красивее другой, поэтому Анне предстояло объехать все окрестности Венеции, Падуи, Вероны и Виченцы, чтобы посмотреть эти виллы и решить, какие из них снимать для журнала. Да ей и просто надо было не по книжке понять, что это за виллы. Статью о них она собиралась написать сама, потому что, при всем множестве подробностей, это не должна была получиться специальная статья об архитектуре. Написать надо было о том, что составляло суть и смысл строений Палладио, что заставляло архитекторов всего мира учитывать их существование через сотни лет после его смерти, а обычных людей – почему-то хотеть жить именно в таких домах.

Писать о больших, существенных явлениях так, чтобы они выглядели именно большими и существенными, и вместе с тем чтобы читать о них было интересно даже таким людям, которые ничего не смыслят ни в архитектуре, ни в декоративном, ни в ювелирном, ни вообще в каком бы то ни было искусстве, – писать так было трудно, и мало кто умел так писать. Но именно на этом держался журнал «Предметный мир», именно из-за этого его покупали и выписывали, выделяя в разливанном море дорогих журналов, и надо было сохранять марку.

В Падуе шел мелкий дождь – не дождь даже, а легкая мокрая пыль окутывала город. Паоло Маливерни жил рядом с университетом, в котором преподавал историю итальянской архитектуры, и Анна поехала к нему прямо из аэропорта, даже не завернув в отель. Было, конечно, неловко являться с чемоданом домой к человеку, которого знаешь только по переписке: еще подумает, что она собирается у него остановиться. Но завтра утром у профессора были лекции, и Анне поскорее надо было договориться о том, когда можно будет осмотреть виллу; откладывать дело в долгий ящик ей не хотелось.

– Вас не утомил перелет, синьора Ермолова? – поинтересовался Маливерни, когда она вошла в темноватую гостиную его небольшой, но с высокими потолками квартиры. – Может быть, мне надо было предложить вам встретиться завтра?

Он сидел в инвалидном кресле посреди комнаты, ноги его были укутаны пледом – даже после уличной сырости чувствовалось, что в комнате прохладно, почти промозгло. На вид ему было за шестьдесят, но вот именно на общий вид, потому что глаза казались моложе. Во всяком случае, они блестели интересом к женщине, которая входила в его гостиную, смахивая сияющую водяную пыль с мокрых русых волос.

– Благодарю вас, синьор Маливерни, – возразила Анна, – я ведь сама просила о встрече именно сегодня и специально подобрала такой рейс, чтобы успеть. Вилл Палладио немало, – улыбнулась она, – и мне хотелось бы посмотреть как можно больше.

– Но моя, конечно, самая красивая, – улыбнулся в ответ Маливерни. – Собственно, в нашей встрече не было необходимости, – добавил он и тут же поправился: – Хотя я очень рад знакомству с вами. И у вас такой прекрасный итальянский язык! Но я все равно не смогу вас сопровождать на виллу, это сделает мой сын, и было бы, наверное, удобнее, если бы он просто встретил вас в аэропорту и вы сразу поехали бы на место.

Анна тоже считала, что так было бы удобнее, но ей хотелось сказать что-нибудь приятное этому человеку с молодыми глазами, и она принялась уверять его, что знакомство с ним… и, конечно, можно будет поехать на виллу чуть позже… ну, и так далее.

– А вот и Марко, – вдруг перебил этот вежливый словесный поток Маливерни. – Так что вам не придется беседовать со мной о погоде, синьора Ермолова. – Он понимающе улыбнулся. – Женщине правильнее смотреть на творения совершенного искусства, чем на несовершенного старика, тогда она иначе будет видеть себя в зеркале и не позволит себе, например, одеться небрежно или безвкусно. Правда, к вам это не относится – вы и так выглядите прекрасно, – не забыл он про комплимент. – Сынок, познакомься с синьорой Ермоловой.

– Вы можете называть меня просто по имени, – сказала Анна. – Зачем такие церемонии? Я же не супруга президента, прибывшая с официальным визитом.

Она и сама с нетерпением ждала окончания дежурной части разговора. Ехать до виллы, наверное, около часа, а теперь все-таки начало ноября, вот-вот стемнеет, и что она увидит тогда?

– Папа предупредил вас, что вы можете переночевать на вилле? – пожимая ей руку, спросил Марко Маливерни. – Мы обычно уезжаем оттуда в начале октября, потому что осенью там холодно – температура поддерживается такая, чтобы только не повредились фрески. Но несколько комнат вполне пригодны для жизни даже и зимой.

Маливерни-младший обладал тем счастливым типом внешности, который производит хорошее впечатление сразу и на любого человека. Ему было лет тридцать пять, он был высок, тонок сложением и потому изящен, и доброжелательность его взгляда почему-то усиливалась оттого, что смотрел он сквозь очки с тонким темным ободком.

– Правда? – обрадовалась Анна. – Спасибо! Если, конечно, я никого не стесню…

– Никого, – улыбнулся Марко. – Там работают три человека – ухаживают за домом и парком, – но на ночь они уезжают в Падую. Дом я покажу вам сейчас, а парк вы увидите завтра утром. Тогда у вас будет верное впечатление о нашей вилле. Утром она особенно красивая. – Последние слова он произнес с легким смущением, как будто стеснялся своей любви и своего восхищения. – Мы поедем, папа, – сказал он Маливерни-старшему и обернулся к Анне: – Вы очень проголодались в дороге, или мы можем поужинать уже на вилле, не перекусывая сейчас? Я попросил Лауру – она работает там, в доме, – перед уходом приготовить ужин.

– Конечно, можно ехать сразу. – Теперь слегка смутилась уже Анна. – Спасибо, Марко.

– Ведь это, наверное, дорого, содержать такую виллу? – поинтересовалась Анна.

– В общем, да, – кивнул Марко. – Маливерни – самая маленькая из всех палладианских вилл, но все-таки нам иногда приходится пускать сюда экскурсии, чтобы окупить хотя бы часть расходов.

– И вы никогда не думали ее продать? – зачем-то спросила Анна.

И тут же поняла, что глупее вопроса задать было невозможно.

– Никогда, – улыбнулся Марко. – Она принадлежит нашей семье с самого начала, с шестнадцатого века. И она у меня в сердце, – уже знакомым Анне чуть смущенным тоном добавил он.

При этих словах Марко на мгновение коснулся ладонью груди.

– Извините, – попросила Анна. – Я всегда сама замечаю, когда говорю глупости, но замечаю как-то уже запоздало.

Вилла Маливерни в самом деле считалась небольшой, это было написано о ней во всех справочниках. Но поздней осенью – наверное, из-за холода – она казалась огромной. Они подъехали к стоящему на холме дому уже в сумерках. Издалека и снизу дом выглядел хрупким, как видение, и светился белым мрамором стройных стен.

Марко сразу разжег камин в центральном зале. Пока он показывал Анне дом, здесь стало все-таки потеплее, и теперь, когда они сидели за ужином у самой каминной решетки, Анна чувствовала, что щеки у нее пылают от внешнего жара.

Зал освещался только настенными канделябрами, в которых свечи были заменены электрическими лампочками – впрочем, какими-то необычными, с дрожащими, словно и вправду свечными, огоньками. В этом трепетном

полумраке гигантские фигуры богов на фресках казались живыми. Они как будто со всех сторон обступали сидящих за столом мужчину и женщину и наблюдали за ними с потолка.

– Очень хорошее вино, – сказала Анна, чтобы сгладить неловкость своего предыдущего вопроса. – Я люблю такое – немножко сладкое и немножко игристое. Ведь его делают где-то рядом, да?

– Да, – кивнул Марко. – Неподалеку, в Эугании. Где последний дом Петрарки и его могила; вы, конечно, знаете. На холмах Эугании. Мне почему-то всегда казалось, что это слово звучит как-то грустно и сладко – холмы… По-русски не так?

– Так, – улыбнулась Анна. – По-русски оно очень печальное и бередит сердце. Мне, во всяком случае, тоже так кажется.

– Когда я был маленький, мы здесь рвали весной цветы гранатов и ели их, – сказал Марко. – На вкус они терпкие, и я до сих пор люблю их больше, чем сами гранаты.

Когда они вошли с холода в дом, очки у него запотели, он снял их, и не надел до сих пор, и смотрел на Анну широко открытыми – наверное, дальнозоркими, а не близорукими – глазами. Глаза у него были необыкновенного цвета: темно-карие, с глубокими золотыми огоньками.

«Как яхонты мои», – вдруг вспомнила Анна.

Она так ясно, так неожиданно ясно понимала все, о чем он говорил – вот как это, про печальные холмы и про терпкие гранатовые цветы, – что даже растерялась немного. Но ощущения неловкости, стесненности при этом не было совершенно. Ей хорошо было сидеть напротив этого красивого человека за столом, пить играющее в бокалах вино с печальных холмов и слушать его простые слова.

– Вам понравился наш дом? – спросил Марко.

– Очень, – по-детски прижмурившись, ответила Анна. – Вы так хорошо мне его показали, как-то очень точно.

– Он позволяет показать себя именно так, – объяснил Марко. – Потому что он так построен, вы заметили? Собственно, Палладио ведь строил просто деревенские поместья для тех аристократов, которые вынуждены были заняться сельским хозяйством. Венецианская республика обнищала, пришлось искать новые источники доходов, ну, и так далее – это все есть в учебниках истории. Видите каменный выступ под подоконником? – Он кивнул в сторону темного окна. – Эта скамеечка предназначалась для того, чтобы хозяин мог, не выходя из дому, наблюдать за тем, как идут работы во дворе. А на втором этаже, где теперь спальни, ссыпалось на хранение зерно. Все было очень просто, внятно и приземленно. Знаете, я иногда думаю: только то, что стоит на простых основах, и остается в жизни. Да и в искусстве тоже, – улыбнулся он. – Я видел ваш журнал – те номера, которые вы присылали папе, – и читал в Интернете английскую версию. По-моему, вы пишете как раз об этом.

– Мы стараемся, – согласилась Анна. – Это ведь понятно даже из нашего названия. А вы никогда не пробовали об этом написать? О вашем доме, например.

– Нет-нет, – покачал головой Марко; свечные огоньки вздрогнули и утонули в его глазах, и глаза еще ярче вспыхнули глубоким золотом. – Я не переоцениваю своих способностей. Может быть, я что-то чувствую в жизни – больше, чем это требуется для повседневных забот, – но в общем я есть то, что есть: квалифицированный финансовый консультант. Мне жаль, что я никогда не был в России, – неожиданно добавил он. – И это очень странно, что я там не был.

– Почему же это странно? – удивилась Анна.

– Потому что у меня четверть русской крови. Моя бабушка, мать моего отца, была русская. И, что еще более странно, она была ваша однофамилица. Может быть, она даже ваша кровная родственница, – сообщил он.

– Ну, кровная – наверняка нет, – покачала головой Анна. – У меня фамилия по мужу.

– Тогда, может быть, родственница вашего мужа. Какая-нибудь двоюродная бабушка. Она была из эмигрантов, ее звали Анастасия Ермолова.

– Да нет, – улыбнулась Анна. – Конечно, это было бы красиво и романтично, но я знаю родственников своего мужа, их очень немного. Его бабушка умерла тридцать лет назад, и о ней абсолютно все известно. Она родилась в деревне, жила в Москве, а потом в Мурманске, ее звали Наталья Гавриловна. А мужа ее звали Константин Павлович Ермолов, он погиб во Вторую мировую войну под Сталинградом. И сестры по имени Анастасия у него не было, у него вообще не было ни братьев, ни сестер. Просто Ермоловы – это довольно распространенная русская фамилия, – словно извиняясь, объяснила она; ей почему-то жаль было разочаровывать Марко. – Была актриса с такой фамилией, очень известная, и был генерал, который сто пятьдесят лет назад воевал на Кавказе. Но они ведь мне не родственники, так что, видимо, и ваша бабушка…

– Да, наверное, – согласился Марко. – Может быть, когда-нибудь я все-таки поеду в Россию и попытаюсь обратиться в архивы. Она умерла молодой, даже мой отец ее не помнит, но после нее остались кое-какие записи и фотографии, это могло бы помочь. Я давно уже собираюсь этим заняться, но никак не соберусь, – добавил он. – Все-таки жизнь требует слишком больших ежедневных усилий, и на то, что вы назвали романтичным, времени уже не остается.

– Я могла бы посмотреть ее записи, – предложила Анна. – Возможно, я сразу посоветую, куда надо обращаться в России. Я неплохо знаю архивы, мы ведь с ними сотрудничаем.

– Это было бы прекрасно! – обрадовался Марко. – К тому же ее дневники хранятся прямо в этом доме. Она ведь жила с мужем здесь, моя бабушка, и мой отец здесь родился. И вы могли бы посмотреть все прямо сегодня, перед сном. Вдруг ее записки окажутся нескучными и такое чтение на ночь даже доставит вам удовольствие? Только не уходите сразу, – вдруг попросил он. – Вы успеете прочитать. Мне было бы жаль сейчас расстаться с вами, Анна… Давайте выпьем еще чуть-чуть. – Он смотрел на нее не отрываясь, и глаза его светились изнутри таким нежным и таким притягивающим светом, что Анна тоже не могла отвести взгляд от его лица. – Наверное, я уже много выпил, иначе я не понимаю, почему говорю с вами так… легко. Но я хочу выпить еще – мне хорошо говорить с вами так, и если для этого надо пить, то пусть.

Он выпил совсем немного, не больше, чем Анна, и не больше, чем вообще принято выпить за ужином, и вино было легкое. Но Анна и сама чувствовала себя так, словно это вино кружилось у нее в голове и, как сильная волна, ломало все преграды между нею и этим красивым человеком с золотыми светящимися

глазами.

– Я тоже выпью еще, Марко, – сказала она.

И сразу почувствовала, что этим «тоже» сказала очень много – очень много такого, что не имело отношения к вину, к мраморному дому на холме, к каким-то чужим и давним дневникам, а имело отношение только к одному: к тому, что мужчина и женщина сидят вдвоем у пылающего огня и их как магнитом тянет друг к другу, и все преграды, одна за другой, сгорают между ними быстрее, чем дрова в камине.

Оказалось, что бутылка уже пуста, и Марко встал, чтобы взять новую. Бутылки с вином стояли в подставке под окном, окно было у Анны за спиной, и, принеся вино, он на мгновенье остановился за ее стулом. Анна чувствовала его совсем рядом, на расстоянии даже не вытянутой руки, а протянутой ладони, и чувствовала, что сейчас он прикоснется к ней и что она хочет этого так сильно, как давно уже ничего не хотела в жизни.

Он поставил бутылку на стол и положил руки Анне на плечи прежде, чем она успела осознать свое желание. Вернее, она просто не хотела ничего осознавать, а хотела только, чтобы это желание осуществилось. Она через платье и через тонкую шаль почувствовала, что ладони у него теплые – согрелись от близкого огня, а пальцы прохладные – бутылка ведь стояла далеко от камина, и пальцы, значит, чуть-чуть остыли, пока он нес вино. Она даже не удивилась тому, что чувствует эту неуловимую разницу в тепле его ладоней и его пальцев, ей только хотелось почувствовать все это еще полнее, еще сильнее, и, не оборачиваясь, она встала. Марко отодвинул стул и обнял ее. Она почувствовала, что он пылает и вздрагивает – и пылает не от огня камина, и вздрагивает не от холода просторного зала. И еще она почувствовала, что хочет его так же сильно, как он хочет ее, и что им совсем ничего не мешает, а значит, все будет так, как они оба хотят.

Марко повернул ее к себе и поцеловал – сразу в губы и сразу так, что у нее занялось дыхание. Он молчал, но она и не ждала от него никаких слов, потому что – какие тут могут быть слова? Она и сама не могла бы сейчас вымолвить ни слова. Они целовались так долго, как будто это была последняя черта, за которой уже ничего нет и которую поэтому невозможно перейти.

Но, конечно, за ней было еще очень много всего, за этой чертой поцелуев. Марко первым оторвался от Анниных губ и шепнул:

– Пойдем наверх.

Они поднялись по неширокой мраморной лесенке на второй этаж – туда, где триста лет назад в этом доме хранили зерно, а потом спали, любили, целовались ночи напролет, и зачинали, и рожали детей.

В маленькой спальне было тепло, хотя камина здесь не было; наверное, было включено обычное отопление. Шторы на узком окне не были задернуты, и свет от паркового фонаря попадал в комнату. В этом ярком, каком-то мертвящем свете белела постель на неширокой кровати. Марко взял Анну за руку, подвел к постели и быстрым движением снял шаль с ее плеч.

Анна смотрела, как шаль ложится на стул, как мягкими складками спадает на пол. Ей стало… не то чтобы страшно и не то чтобы грустно. Просто она вдруг поняла, что все переменилось. Что – все, и почему вообще переменилось, она не знала, но чувствовала эту мгновенную перемену так отчетливо, как несколько минут назад чувствовала, что Марко сейчас положит руки ей на плечи.

Она не понимала, что с ней произошло. Она не останавливала себя, не взывала к своему разуму или долгу. Да и какой, Господи, может быть у нее долг и перед кем?! Перед мужем, который уже восемь лет просто живет с нею в одной квартире, у которого есть где-то другая семья и который уж точно не чувствует никакого долга перед женщиной, по инерции называемой его женой?.. И зачем он вообще всплыл сейчас в ее сознании, или в сердце, или черт знает в чем, этот муж с его спокойным голосом и твердыми ладонями, Боже мой, да почему же твердыми, она давно забыла, какие у него ладони, и кто бы не забыл!..

Анна почувствовала, как слезы – злые, отчаянные, никчемные и неостановимые – текут по ее щекам. Марко не мог видеть этого в полутьме, но, наверное, он тоже почувствовал какую-то мгновенную и неожиданную перемену. Он повернул Анну к себе и, щурясь – очки ведь остались на столе – всмотрелся в ее лицо.

– Что-то не так? – спросил он. – Я понимаю, это слишком… быстро, прости, но мне показалось…

– Мне тоже показалось, – ответила Анна. – Это ты должен простить меня.

Он молчал несколько секунд, которые показались Анне невыносимо долгими, потом сказал:

– Я не должен простить… Мне не за что прощать тебя. Я не думал, что так может быть, и так действительно не может быть.

У него был такой голос, что Анне захотелось тут же сгореть и исчезнуть. Она ненавидела себя так, как можно ненавидеть только постороннего, во всем себе враждебного человека.

Марко быстро провел по ее волосам рукой – она почувствовала, какие нежные, какие совсем теплые теперь у него не только ладони, но и пальцы, – и вышел из комнаты, тихо прикрыв за собою дверь. И все – она снова осталась в своем одиночестве, в том глубоком душевном одиночестве, из которого не было выхода, да она и не искала… А почему она это сделала, зачем – одному Богу было известно.

Анна присела на край постели и, положив руки на колени, уставилась невидящим взглядом на узоры упавшей на пол шали. Это случилось с нею впервые за последние, такие долгие, годы: чтобы она вдруг поняла, что одиночество ее не абсолютно, что какой-то человек, совсем чужой человек, вдруг становится ей необходим, что ее тянет к нему, и не только телом тянет, а вот именно душой. Что она совсем не ожидает, чтобы он ушел и можно было бы совместить то одиночество, которое всегда у нее внутри, с одиночеством внешним… И вот это случилось – и тут же кончилось, и она сама виновата в том, что это кончилось.

Горечь в сердце сделалась такой сильной, что она ощутила ее как настоящую горечь – как будто прожевала какую-то несъедобную траву.

В дверь осторожно постучали; Анна вздрогнула. Что она скажет, если он все-таки попросит хоть что-нибудь объяснить?

Но Марко, кажется, никаких объяснений требовать не собирался.

– Вот эти тетради, – сказал он, стоя на пороге. – Я оставлю здесь, на столике. Спокойной ночи, Анна.

В его голосе почти не слышалось печали. То есть, наверное, это он не хотел, чтобы в его голосе слышалась печаль, а на самом деле она была, только очень глубоко скрытая.

Анна встала так стремительно, словно хотела его удержать. Но дверь уже закрылась – и она только по инерции дошла до столика у двери, взяла три тонкие, в картонных обложках тетради, которые тихо хрустнули у нее в руках. Ей было все равно, чьи это тетради, что написала в них какая-то неведомая женщина, почему написала… Она чувствовала только сильную, до горла дошедшую горечь.

Но обязательность, над которой посмеивался Матвей, все-таки взяла свое. Снова присев на край кровати, Анна включила стоящую на подоконнике лампу и машинально открыла верхнюю тетрадь.

«Верно, я любила тебя больше, чем это нужно было для счастья. Для твоего счастья, да и для моего, значит, тоже», – прочитала она.

И вздрогнула, не понимая: что это, зачем? Если бы тетрадь не была такой старой, то она торопливо пролистала бы ее всю, надеясь найти какое-нибудь объяснение этим странным словам, с которых начинался дневник. Но желтые листочки предупреждающе хрустнули, и по въевшейся привычке к работе с архивными документами следующие страницы Анна перелистнула осторожно.

Странная запись дальше никак не объяснялась. Может быть, ею должен был начаться не дневник, а письмо, которое потом почему-то было оставлено?

Анна перелистала еще несколько страниц, и из тетради выпала фотография. Она подняла ее с ковра, поднесла поближе к лампе. Кажется, фотография была семейная: молодая женщина, мужчина в ладно пригнанном полушубке с выпушкой, ребенок у него на руках… Это был не снимок в полный рост, а портрет – черно-белый, довольно крупный фотографический портрет, сделанный в профессиональном ателье на старинной, с высоким содержанием серебра, бумаге.

Анна повыше подняла лампу и внимательнее вгляделась в эти лица. И, вглядевшись, ахнула. Она видела его, она точно его видела, этого мужчину! Только та фотография, на которой она его видела, была гораздо хуже – любительская, нечеткая. Но это все-таки был он, его трудно было не узнать, хотя на виденной Анной прежде фотографии он был гораздо старше, и в плечах шире, и глаза другие – не лихие и молодые, с ресницами как стрелы, а усталые глаза взрослого нерадостного человека. Но мужчину с такой внешностью трудно не узнать на двух фотографиях, даже если их разделяют годы.

Константин Павлович Ермолов, дед ее мужа, смотрел на Анну с этого неведомого семейного портрета так же, как смотрел он с заломленной фронтовой фотокарточки, которую она видела у свекрови. Это было странно, это было так неожиданно и необъяснимо – откуда здесь этот снимок, что на нем за женщина, кто этот ребенок? – что Анна даже про собственные невеселые мысли забыла.

Он был удивительно похож на ее сына, этот неведомый человек; она просто оторопела от очевидности их сходства. Анна всегда считала, что Матвей похож на нее, да и все так говорили, но теперь она воочию убедилась, что и сама ошибалась, и все ошибались. Сходство с нею, оказывается, было у ее мальчика какое-то поверхностное, а с прадедом оно было настоящее.

В Константине Павловиче сильнейшим образом чувствовалось то же бесшабашное, мгновенно пленяющее обаяние, которого так много было в Матвее и происхождение которого в сыне всегда было для Анны загадкой: в Сергее все было совсем другое… А во взгляде Константина Ермолова оно было то самое – лихое, за душу берущее обаяние.

Она с трудом оторвалась от созерцания его глаз и перевела взгляд на женщину, прислонившуюся к его плечу. Надо полагать, это и была бабушка Марко – как он ее назвал, Анастасия? Но как эта женщина могла оказаться в Италии и как могло получиться, чтобы в семье Ермоловых о ней даже воспоминания не осталось? Да еще ребенок, он-то куда девался, и при чем здесь Марко, то есть отец Марко, то есть, вернее, дед – ведь это дед Марко, получается, был мужем этой женщины, а не Константин Ермолов?

Все это было загадочно, почему-то печально, и взгляд на женщину не унимал ни загадки, ни печали. Да ее и разглядеть было трудно, эту женщину, потому что ее лицо скрывалось в тени широких полей шляпы с перышком. На уголке

фотографии стояла дата – 1923 год, – и это было странно: Анна точно знала, что в двадцатые годы таких дореволюционных шляп уже не носили.

«Губы у нее такие… нерадостные, – вдруг поняла Анна. – Потому она печальной и кажется».

Губы у женщины и правда были сомкнуты так, что выражение ее лица казалось трагическим. Даже странно было, что она не чувствует себя счастливой, прислоняясь к плечу такого мужчины, каким выглядел Константин Ермолов.

Анна положила фотографию на постель и снова открыла тетрадь на первой странице – на той, как удар поразившей ее, фразе, написанной быстрым, неразборчивым почерком: «Верно, я любила тебя больше, чем это нужно было для счастья…»

Глава 5

В Москве мороз легче было вынести, чем в Белоруссии. Здесь он был острее, жег щеки, но от него хотя бы не перехватывало дыхание, потому что он был сухой, а не тяжелый от влаги, как в Орше.

Но все же Константин чувствовал, что идти ему тяжело: не из-за мороза, а потому что его знобило и ноги от этого двигались медленно, вяло. Тверская улица была темна и пустынна, и некого было спросить, как попасть на Малую Дмитровку. Таблички на домах были сбиты, и он лишь догадывался, что идет именно по Тверской, потому только догадывался, что никуда ведь не сворачивал, выйдя с площади Брестского вокзала на самую широкую улицу, начинающуюся у Тверской заставы.

«Львы на воротах и стаи галок на крестах, – вспомнил он, оглядываясь. – Где они, львы-то эти?»

И тут же увидел и львов, и кресты. Львы на воротах Английского клуба – что здесь теперь, интересно? – едва угадывались под высокими шапками снега, но кресты Страстного монастыря темнели в темном же небе отчетливо, словно

маяки.

«В Москву, на ярманку невест», – улыбнулся Константин, вспомнив еще одну пушкинскую строчку, и, насколько мог, ускорил шаг, направляясь прямо в сторону крестов.

Ему было, конечно, совсем не до невест, но монастырь-то стоял на углу Страстной площади и Малой Дмитровки, это он из «Евгения Онегина» как раз и помнил.

По Малой Дмитровке пришлось идти в обратную сторону. Здесь таблички отчасти сохранились, и оказалось, что искомый дом находится в противоположном от монастыря конце улицы. Он стоял прямо на углу, огромный, темный, как, впрочем, и все другие дома, и мрачный, словно и не дом это был, а ледяная могила.

Сходство довершалось тем, что лестница черного хода сплошь обледенела. Видно, по ней таскали, расплескивая, воду на верхние этажи, а отопление, конечно, не работало. Оно-то и в Орше не работало, но там хотя бы не было высоких домов, а здесь Константин задохнулся, поднимаясь на последний, шестой этаж и оскальзываясь на каждой ступеньке.

Звонить он не стал и пытаться – электричества ведь нет, для чего же звонить? – а сразу принялся стучать в единственную дверь на верхней площадке, сначала кулаком, а потом и ногой. Но за дверью было тихо, тоже будто в могиле, и он остановился, размышляя: не стоит ли просто посильнее толкнуть эту дверь и вышибить, неизвестно ведь, живет ли здесь кто-нибудь вообще.

«Так и сделаю», – решил Константин, но для верности еще раз стукнул кулаком по двери, почувствовав при этом, как пот выступает на лбу и одновременно ознобная дрожь проходит по всему телу, туманя голову.

И тут он услышал, как звякают за дверью цепочки. Потом щелкнул замок, и дверь осторожно приоткрылась. Пахнуло из узкой щели теплом, но почти неощутимым. Видно, в квартире немногим было лучше, чем на лестнице, и тепло, казалось, исходило только от мелькнувшей за дверью свечки.

– Кто тут? – донесся из-за свечного огонька настороженный голос. – Кому на ночь глядя неймется?

Голос был хриплый, и непонятно даже было, кому он принадлежит, мужчине или женщине.

– По ордеру, – ответил Константин, доставая из-за пазухи свой фронтовой вороненый портсигар, в котором держал документы. – Малая Дмитровка, угол Садовой-Триумфальной? На вселение ордер у меня.

– Покажи, – потребовал голос. – Сказать-то мало ль чего кто скажет!

Константин развернул бумагу перед самой дверью, на уровне глаз. Глаза тут же блеснули из квартирной темноты – сердито блеснули, недоверчиво. Обладатель глаз и хриплого голоса некоторое время разглядывал ордер, что-то при этом бормоча – кажется, вчитываясь в блеклые строчки документа. Потом дверь захлопнулась, снова звякнула цепочка, и дверь открылась опять – со скрипом, будто нехотя.

– Заходи, раз уполномоченный, – сказала женщина; теперь Константин понял, что это именно женщина. На ней было надето и наверчено множество одежек и тряпок, но что-то бабье в ее фигуре все-таки чувствовалось. – Только нам для тебя уплотняться некуда уже, пускай Аська уплотняется.

– Аська – это кто? – произнес Константин в спину уходящей в глубь квартиры женщине.

– Направо иди, – не оборачиваясь, буркнула та. – Небось не заплутаешь.

Женщина закрыла за собою еще какую-то дверь, свечной огонек исчез, и в передней наступила кромешная тьма. Константин достал из-за пазухи зажигалку, сделанную из ружейной гильзы, выщелкнул из нее огонь и, держась для верности за стену, двинулся направо, полагая, что должен же быть еще какой-нибудь ход в квартиру, не только ведь тот, по которому ушла рослая, замотанная в платки баба.

Справа от передней обнаружилась комната, в которой не было ни души и которая показалась Константину огромной и какой-то ломаной. Никакой Аськи он в этой стылой комнате не нашел, зато нашел у стены кровать – вернее, полукруглую, как колбаса, козетку.

«Завтра разберусь, – решил он, с облегчением опускаясь на это неудобное, утлое ложе. – Поспать бы хоть немного…»

Валенки он снимать не стал – стянул только с головы папаху, положил ее на заплечный мешок, секунду поколебался, не снять ли полушубок, но потом решил, что в таком холоде замерзнет без него напрочь, и лег головой на папаху, неудобно подогнув ноги. И тут же провалился в забытье, не почувствовав даже облегчения оттого, что наконец-то никуда не едет, не идет, и никому от него ничего не надо.

Проснулся он от холода. То есть он и всю ночь чувствовал холод, и всю ночь пытался как-нибудь от него избавиться: подтягивал ноги к животу, судорожно дышал в ворот полушубка, вынул из-под головы и надел, надвинув поглубже, папаху… Все это и ночью не помогало, а к утру, видно, холод стал так невыносим, что все-таки разбудил его.

Константин со стоном сел на козетке, дрожа и одновременно обливаясь потом. Все тело ломило, а свет, падающий из окон, показался таким ярким, что заболели глаза. Он покрутил головой, прищурился, пытаясь избавиться от этой боли, – и тут же увидел женщину, стоящую рядом с его кроватью и глядящую на него со странным выражением на лице.

– Здравствуйте, – проговорил Константин.

Стоило ему чуть приглядеться, как он сразу же понял, что перед ним стоит барышня, на вид чуть больше двадцати. Рука его сама собою потянулась к голове, а ноги, хоть и дрогнули в коленях, но распрямились, поднимая его с козетки.

– Здравствуйте, – повторил он. – Константин Павлович Ермолов, честь имею представиться.

– Честь имеете? – насмешливо протянула она. – Вы в чужом доме, на чужой кровати расположились как хозяин – и какая же при этом честь, Константин Павлович?

– Извините, – через силу улыбнулся он, сглатывая колючий сухой комок и морщась от боли в горле. – Я вошел ночью, и мне показалось неудобным вас будить.

– Разумеется, без спросу воспользоваться чужим жильем показалось вам более удобным.

Она пожала плечами и тут же шмыгнула носом. Пожатие было презрительным, но вот это шмыганье, явно от холода, – смешным и каким-то девчоночьим.

– Впрочем, о чем теперь говорить? – усмехнулась барышня. – Могли бы и «наганом» воспользоваться, поэтому и на том, что есть, спасибо. Анастасия Васильевна Раевская, – представилась она.

Константин вспомнил, что на медной дверной табличке – он разглядел вчера, пока баба читала при свече его документ, – была написана эта фамилия, только в мужском роде; видно, ее отца или мужа.

– У меня ордер есть, – сказал он почти жалобно. – На комнату.

Это была не первая квартира, в которую ему приходилось без спросу вселяться за то время, что шла Гражданская война, но сейчас ему почему-то стало неловко.

– Нисколько не сомневаюсь, – кивнула Анастасия Васильевна Раевская. – И оспаривать не берусь. Только комната проходная, поэтому я вынуждена буду вас беспокоить своими передвижениями. Или, может быть, вы мою комнату предпочтете занять? – поинтересовалась она. – Больше в этой квартире свободных комнат не осталось.

– Я эту предпочту, – ответил Константин. – У вас ведь, наверное, ширмы какие-нибудь есть? Можно вашу дверь отгородить, и ходить вы мимо меня будете спокойно. Только стыло-то здесь как! – Он снова вздрогнул и тут же вытер пот со

лба. – Неужели совсем не топите?

– Я у себя топлю. – Барышня тоже поежилась, глядя на него, снова шмыгнула и уткнулась носом в воротник потертой леопардовой шубки. – Но только «буржуйку», а она быстро остывает. Да и топить уже почти нечем. Вокруг все заборы давно разобраны, а дров мне не положено.

– Вы, наверное, мебель всю сожгли? – догадался Константин, обводя взглядом пустую и действительно огромную, в три окна, комнату.

– Да, – кивнула Анастасия Васильевна. – Я ведь не предполагала, что вам мебель понадобится, – насмешливо добавила она. – Хотя нетрудно было предположить что-то подобное.

– Я получу дрова, – сказал Константин. – Может быть, даже и сегодня получу – вот пойду на службу…

– На службу? – переспросила Анастасия; она то и дело вот так вот, с вопросительной насмешкой, повторяла его слова. Рот у нее был большой, нервный, и поэтому насмешка с особенной отчетливостью ощущалась в каждом движении губ. – Интересно, что вы теперь называете службой, Константин Павлович? – Она окинула выразительным взглядом его черный, с выпушкой полушубок – офицерский, романовский.

– Я служу в Наркомате путей сообщения, – ответил Константин, глядя в ее темные неспокойные глаза. – Учился на инженера, почти окончил, но в конце войны призвали вольноопределяющимся. А потом…

Он замолчал, потому что вдруг понял: невозможно в двух словах объяснить этой барышне все, что было потом, – весь ход жизни, взбаламученной, взвихрившейся жизни, которая неотменимо и властно сделала его, недавнего студента, начальником Оршанского железнодорожного узла, уполномоченным наркома по важнейшему северо-западному направлению…

По счастью, Анастасия Васильевна и не интересовалась подробностями его биографии.

– Что «потом», мне понятно. – Она повела плечом. – Вы, верно, большевик? Что ж, обустраивайте свою жизнь, Константин Павлович, не смею вам мешать.

– Нет, не большевик, – сказал Константин.

Но этого Анастасия Васильевна, наверное, не слышала, потому что уже скрылась за дверью, которую Константин только теперь заметил за одним из вычурных угловых изгибов этой довольно нелепой комнаты.

И он снова остался один и уныло огляделся, не понимая, что здесь можно обустроить, как и, главное, зачем.

Константин вновь попал в эту квартиру только к вечеру следующих суток: работы на новой должности оказалось не меньше, чем на прежней. Удивительно было, что он вообще вернулся в это свое, с позволения сказать, жилье. Удобнее и правильнее было бы совсем переселиться на работу, как сделал это Гришка Кталхерман, потому что военные эшелоны шли через Москву сутки напролет, без выходных и перерывов, и движение войск надо было обеспечивать. В том хаосе, который царил на железных дорогах, делать это было почти невозможно, но Константин уже научился каким-то загадочным образом это делать – частью наитием, а больше жестким напором, и был поэтому незаменимым человеком. И именно поэтому его перевели приказом наркома из Орши в Москву, хотя и в Орше он тоже был нужен.

Он приехал на Малую Дмитровку на дровнях, сидя рядом с возницей. Оказавшись наконец у подъезда большого, бывшего доходного, дома, Константин мельком подумал, что лучше было бы и не подниматься в квартиру, а просто распорядиться, чтобы занесли наверх дрова, и вернуться на службу, в тесную, сизую от махорочного дыма, но теплую комнату в здании Брестского вокзала.

Но это была последняя мысль, которая вяло мелькнула у него в голове. Вслед за нею пришло полное безмыслие, и Константин почувствовал, что болезнь окончательно становится сильнее его воли.

«Может, испанка. Или тиф», – равнодушно, словно о постороннем, сказал он.

То есть это ему показалось, что сказал, а на самом деле и не сказал, и даже не подумал, а только шевельнул во рту какие-то жесткие, острые, физически ощутимые предметы – слова, что ли, или камешки?..

Невнятно махнув рукой вознице, чтобы тот как-нибудь доставил дрова по назначению, Константин, пошатываясь, добрел до двери черного хода.

Как он поднялся по ледяным ступеням на шестой этаж, как отомкнул замок выданным ему накануне Анастасией Васильевной ключом, – этого он уже не помнил.

Самое удивительное, что сознания он не терял и слышал все, что происходило вокруг него, себя при этом не чувствуя и не слыша совершенно.

– Константин Павлович, что с вами? – спрашивала Анастасия Васильевна, и он не мог понять, почему так испуганно звучит ее голос. – Отчего вы не пройдете к себе, ведь здесь прихожая… Константин Павлович, вы слышите меня?

Он хотел кивнуть и ответить: «Конечно, слышу», – но, кажется, не кивнул и не ответил.

– Аська, дура, не трожь его! – раздался другой, тоже знакомый, хриплый бабий голос. – Пускай сидит, тебе-то что? Не видишь, хворый он, тифозный, может.

– Но как же его оставить на полу сидеть? Он же может умереть!

– Туда ему и дорога. Нового пришлют, тоже на голову тебе поселят. Тебе не все одно, этот иль другой?

– Ты, Тоня, глупости какие-то говоришь. Человек болен – надо вызвать доктора.

– Щас! Пойдет тебе дохтор на ночь глядя комиссара лечить, ежели под ружьем не погонят.

– Лев Маркович пойдет, я уверена. Он помнит, что такое врачебный долг.

– Ну и беги к своему Лев Маркычу, дура подорванная.

– Тоня, пошли Колю, я тебя очень прошу! – Голос у Анастасии Васильевны стал такой жалобный, что его трудно было даже узнать: не верилось, что в ее выразительных насмешливых губах могут рождаться такие интонации. – Или Степа пусть сбегает, это совсем близко, на Садовой-Кудринской, я объясню…

– Может, еще и Наташку послать, чтоб снасильничали девку? И хлопцы мои не нанимались по твоим дурным делам ночью бегать, – злорадно хмыкнула Тоня. – Задарма-то!

– Я… что-то им дала бы… – растерянно пробормотала Анастасия Васильевна.

– Чего ты им можешь дать-то, чего? Малые они еще, чтоб ты им по-бабьи давала, а больше у тебя и нету ничего. Или опять шкатулку с музыкой будешь мне совать? Жри ее сама с маслом, за нее на Сухаревке куска хлеба не дадут!

Ненависть слышалась в Тонином голосе так явственно, словно она разговаривала со злейшим своим врагом. Константин никак не мог понять: как же это получается, что он все слышит и понимает, а вместе с тем не может произнести ни слова и, главное, не может прекратить всю эту гнусность, которая происходит в его присутствии и из-за него?..

– Я тебе дам брошь, – решительно произнесла Анастасия Васильевна. – Она золотая, ее точно можно продать, и к тому же она ручной работы.

– Что ж сама не продала? – поинтересовалась Тоня и тут же догадалась: – На черный день берегла? Говорю же, без мозгов ты, Аська. Ладно, покажи, что за брошка такая, может, Колька и сбегает. Барские у тебя замашки! Другая б золото приберегла, а ты по дури раздаешь, вместо того чтоб дров…

– Сейчас принесу брошь, пусть Коля одевается, – прервала ее Анастасия Васильевна. – А мы с тобой пока как-нибудь перенесем Константина Павловича в комнату.

– В ледник-то? – хмыкнула Тоня. – И то дело – скорее подохнет, может, и дохтор не понадобится.

– В мою комнату, – ответила та. – У меня еще тепло.

– Вшей тебе напустит или еще заразы какой, – хмыкнула Тоня. – Ну, дело хозяйское. Брошку давай, – напомнила она.

Кажется, женщинам все-таки не пришлось его нести: хотя он и повис тяжело у них на плечах, но все же как-то передвигал ногами на бесконечном пути из передней в глубь квартиры. Он только ничего не видел перед собою – может, ослеп? – и ему было так жарко, что он не ощутил даже, в какую комнату его привели, в его холодную или в теплую Асину… А потом он наконец потерял сознание совсем, в последнюю секунду успев испытать огромное облегчение: наконец-то можно не чувствовать стыда за все, что с ним творится!

– Вы, Константин Павлович, болеете не слишком долго – сегодня пошел десятый день. По счастью, у вас определили не тиф и не испанку, а только лишь простуду. Правда, очень тяжелую – вы были в горячке, и, если бы Лев Маркович вовремя не подал вам помощь, то простуда, наверное, перешла бы в воспаление легких, потому что вы были донельзя переутомлены. Вы должны радоваться, что впали в беспамятство. Иначе, пожалуй, так и продолжали бы работать, пока ваша болезнь не сделалась бы необратимой.

Ася наконец улыбнулась после этого длинного разъяснения, но глаза у нее не изменились от улыбки – остались такими же тревожными и печальными. Константин с самого начала заметил эту непонятную неизменность ее глаз, но за время болезни он забыл о том своем мгновенном наблюдении и теперь увидел Асю как-то совсем по-новому, словно впервые.

В комнате было тепло, и на Асе уже не было леопардовой шубки, а было платье из белого кавказского сукна. И платка у нее на голове не было, и волосы лежали на щеках блестящими каштановыми завитками; наверное, она недавно вымыла и высушила голову.

Ася сидела у его кровати на венском стуле; Константин не мог понять, давно ли она так сидит. Он увидел ее сразу же, как только пришел в себя, но еще довольно долго наблюдал за нею незаметно, сквозь опущенные ресницы: смотрел, как она читает тоненькую книжку в бумажной обложке – стихи, наверное, – и не хотел ей мешать. А потом она подняла глаза от книжки и сразу догадалась, что он очнулся, и сказала, что он десять дней лежал в горячке.

– Какое сегодня число, Ася? – спросил Константин.

– Вас, верно, новый стиль интересует? Двадцать девятое февраля одна тысяча девятьсот двадцатого года, – ответила она. – Касьянов день. А как февраль во Французскую революцию назывался – брюмер, термидор? Я позабыла, Константин Павлович, я гимназии не окончила по безалаберности!

Она улыбнулась, почти засмеялась; вздрогнули ее плечи под накинутой на них узорчатой шалью, и Константину почему-то стало тревожно.

– Вантоз, – сказал он.

– Все-то вы помните, Константин Павлович! Неужели не забылось в бурях революции? – насмешливо поинтересовалась она.

– Вы меня зовите, пожалуйста, просто по имени, – попросил Константин. – Все-таки бури революции сильно упростили этикет.

– Это для кого как, – пожала плечами Ася. – Но, пожалуйста, буду звать. А что, я показалась вам слишком церемонной? Напрасно! – засмеялась она. – Я ведь богемьенка, у нас и прежде не было излишних экивоков. Вы собою очень хороши, Костя, – вдруг заявила она вызывающим тоном. – В вас много обаяния, хотя сейчас вы изнурены болезнью. Я наблюдала за вами, пока вы были в беспамятстве.

– Какое же обаяние в беспамятстве? – пробормотал Константин.

«Интересно, а горшки из-под меня кто выносил?» – подумал он.

– Что, я вас шокировала? – засмеялась Ася. – Ну и прекрасно, я люблю шокировать мужчин. Вот вы оправитесь от болезни и станете покорять женские сердца! – с эффектным надломом в голосе добавила она.

Константин еле сдержался, чтобы не поморщиться. Ему неприятны были эти дамские игры в достоевские страсти. Слишком много страстей он видел за две войны – настоящих страстей, грубых и злобных, – и слишком много приходилось самому в этих страстях участвовать, чтобы ему хотелось теперь разыгрывать

нечто инфернальное на потеху барышне.

– Вы меня не шокировали, – сказал он. – Я ведь все слышал, Ася, то есть про золотую брошку… И я вам очень благодарен. Что это за баба здесь у вас живет? – поинтересовался он.

– Как же вы могли слышать? – удивилась Ася. – Вы ведь без сознания на полу сидели. И выглядели, должна вам сказать, так ужасно, что совершенно меня перепугали. Нос у вас заострился, как у покойника, щеки пылали, и весь вы были ледяной, но при этом обливались потом… А баба эта – Тоня Акулова. Она к дворничихе нашей в прошлом году приехала. Из Тверской губернии. Ну, и вселилась ко мне.

– Что значит вселилась к вам? – спросил Константин. – Она вам что, родня?

– Вы, Костя, так спрашиваете, словно не у большевиков служите, а при высочайшем дворе, – иронически заметила Ася. – Не знаете, как теперь вселяются в чужие квартиры?

– Да знаю, – усмехнулся он. – Сам вселялся неоднократно. Но все-таки и большевикам нужны для этого какие-то основания.

– Такие, как Тоня, сами по себе основание, – пожала плечами Ася. – Сметают на своем пути все преграды, и мало кто способен устоять перед таким напором. К тому же она многодетная мать, вдова красноармейца, я же – просто недоумение какое-то, а занимала одна четыре комнаты. Да, в общем, лучше Тоня с детьми, чем, вы уж извините, ваши комиссары.

– Детей у нее сколько? – спросил Константин.

Только теперь он расслышал за стеной – точнее, наверное, за стенами – какие-то крики и грохот. Похоже было, что там ругаются или даже дерутся несколько человек.

– Пятеро, – вздохнула Ася. – Четыре мальчика и девочка, старшей семнадцать, младшему шесть. Знаете, прожив с ними год в одной квартире, я, верно, никогда не захочу иметь детей. Впрочем, я и прежде этого не хотела, – засмеялась она.

Ася смеялась уже второй или третий раз за те десять минут, которые разговаривала с ним, и Константин с удивлением заметил, что глаза ее начали меняться. Ему казалось, что они черные, и вдруг они словно осветились изнутри, и сразу стало понятно, что они карие, и даже не карие, а какие-то темно-золотые, с оранжевыми огоньками в зрачках. И как только проступил из глубины глаз этот необычный цвет, этот свет, – все лицо ее сделалось не просто тревожным, но еще и… жарким каким-то, что ли. Да, именно жарким, горячим, несмотря на бледность щек и даже благодаря этой зимней голодной бледности.

– Ася, мне надо на службу сообщить, что я болен, – сказал Константин. – Может быть, этот ее Колька опять сбегает?

– С вашей службы уже приходили, – успокоила Ася. – Проверяли, не заколола ли я вас кинжалом в ванне. Да-да, что вы смеетесь? – кивнула она. – Один из ваших коллег совершенно серьезно напомнил мне про Марата и Шарлотту Корде и предупредил, что я отвечаю за вас перед пролетариатом и трудовым крестьянством. Вот интересно, Костя, вы имеете хоть какое-то отношение к пролетариату или крестьянству?

– То-то вы Французскую революцию вспомнили! – У Константина от смеха даже слезы выступили на глазах. – Да пожалуй, что имею. Дед мой по матери был крестьянин, жил в деревне Сретенское на реке Красивая Меча. Знаете, тургеневские места? Ну, а мать по большой любви в другое сословие перешла – устроилась горничной в Лебедяни, а потом вышла замуж за начальника железнодорожной станции. Я в Лебедяни и родился, и гимназию окончил. А институт, видите, не успел. Так мне это досадно было, Ася!

– Вы в Москве на инженера учились? – спросила она.

Голос ее звучал осторожно, словно она боялась доставить ему боль своим вопросом. Константин невольно улыбнулся – таким далеким все это теперь казалось: Лебедянь, гимназия, даже вымечтанный и неоконченный институт… Вдруг вспомнилось, как лет тринадцати поспорил с одноклассником Славиком Стрелецким о том, кем лучше быть, инженером или кавалерийским офицером. Славик уверял, что, конечно, офицером, и в доказательство притащил из дому отцовские тоненькие савеловские шпоры, которые звенели нежным малиновым звоном, и долго тряс ими у Кости перед самым лицом, пока не получил по носу, чтобы не хвастался чужими заслугами.

Константину уже и тогда казалось, что главное в жизни – это не ее эффектный блеск, а та мощная созидательная сила, которая рождается где-то внутри человека. Конечно, тогда он не мог бы объяснить это такими внятными словами, да и теперь больше чувствовал эту силу, чем понимал. Но он знал, что сила эта будоражит его так, как отца его будоражили только женщины и картежный азарт.

Тут он понял, что за своими воспоминаниями слишком долго не отвечает на Асин вопрос, и сказал:

– Я в Петербурге учился. В Институте Корпуса инженеров путей сообщения. А вы, Ася, чем занимались? Про гимназию вы мне уже рассказали, – улыбнулся он.

– Ну да, я не окончила, – кивнула она. – Пансион фон Дервиз, что на Старой Басманной. У меня все время получались какие-нибудь стычки с начальницей, потому что я никогда не любила подчиняться разным пошлым правилам. И родители в конце концов забрали меня, после того как я пригрозила, что сбегу из дому. И я окончила балетную школу Шпагиной, даже очень хорошо окончила, среди первых, но балериной все равно не стала. Мне, знаете, всегда не хватало терпения, – серьезно объяснила Ася.

– Да, что вы богемьенка, это вы тоже уже сообщили, – кивнул Константин, стараясь не улыбнуться.

Несмотря на слабость и головокружение, ему все время хотелось смеяться, когда он слушал ее рассказ.

– Балериной я не стала, но зато я стала кабаретьеркой! – словно величайшую новость, объявила Ася.

– Богемьенкой и кабаретьеркой? – чувствуя, что смех уже не помещается у него внутри и от этого дрожат губы, переспросил Константин.

– Ну да, – снова кивнула она. – У меня, знаете, были такие прекрасные номера! – Она вскочила со стула, словно собираясь прямо сейчас продемонстрировать какой-нибудь особенно прекрасный из своих номеров. – Один из них мне Коленька Веселовский поставил, он учился в студии Художественного театра, и вышло так хорошо, под восемнадцатый век. На мне было платье с кринолинами,

на щеке мушка, кругом голубые ковры с амурами, помост выложен зеркалами и гирляндами живых цветов, и я на этом помосте танцевала под музыку Куперена… Смотрите! – Ася вскинула руки, чуть-чуть повернула голову – и вдруг воскликнула, приложив ладони к щекам: – Ох, Костя! Вы только пришли в себя, вам поесть надо, а я все про свои глупости!

– Нет-нет, почему же? – Ему было смешно, ему было весело впервые за последние лет пять и совсем не хотелось, чтобы Ася прерывала то, что она назвала глупостями. – Я бы лучше посмотрел, как вы танцуете, чем поесть…

– Я вам потом покажу, – пообещала она. – А сейчас все же надо подкрепиться и выпить вина. Ваш Робеспьер принес для вас кагору, а это хорошо для кроветворения, я знаю.

– Это Гришка Кталхерман, наверное, приходил, – сказал Константин. – Невысокий, с черными усами и с тощей такой бородкой? – Ася кивнула. – Он мой однокашник – сначала по гимназии, потом по институту. И на фронте мы с ним вместе были. И если бы не он, я бы сейчас из-под земли наблюдал, как картошка растет. В Белоруссии… Ладно! Ася, – наконец решился он спросить, – а кто за мной ухаживал, пока я был в горячке?

Ася обиженно повела плечом.

– Вы думаете, я ни на что не гожусь? А я, когда война с немцами началась, окончила курсы медсестер и даже работала в госпитале. Или вы стесняетесь, Костя? – вдруг догадалась она и засмеялась. – Какие глупости, вы же современный человек, как же возможно стесняться своего тела? Тем более ваша революция, – насмешливо добавила она, – всех нас очень раскрепостила. Прошлым летом мы ходили по улицам босиком и почти голые, и я нахожу, что это было единственное положительное следствие переворота. Прошлый год было много яблок, – мечтательно добавила она, – их на каждом углу отдавали чуть не даром, и по Тверскому бульвару все ходили голые и ели яблоки, как в раю… А ухаживать за вами мне еще Наталья помогала, – добавила она, – Тонина старшая дочь.

– За брошку? – поинтересовался Константин.

– За серьги с гиацинтами, – улыбнулась Ася. – Не переживайте, Костя, серьги эти были из парюры, а без броши она все равно уже разрознена. Сейчас я принесу бульон и вино.

Она скрылась за дверью, а Константин, пользуясь ее отсутствием, обвел глазами комнату.

Кровать, на которой он лежал, была узкая, девичья, да и все в этой спальне было такое, что ее хотелось назвать светелкой, несмотря даже на дух богемьенства, который явно старалась соблюсти хозяйка. Богемьенством просто-таки дышали суровые ткани с деревенскими вышивками, которыми были задрапированы стул, шкаф и комод, но эти же ткани дышали такой чистой простотой и таким вкусом, что в них не чувствовалось ни капли вычурности. Хотя оттого, что драпировка была устроена даже вокруг стоящей у окна «буржуйки», делалось смешно.

На большом – мужском, рабочем – письменном столе из карельской березы стояли многочисленные девические безделушки: кукла Степка-Растрепка, посеребренная глиняная птица Сирин – точно такая, как на картине Васнецова… Константину сразу почему-то бросился в глаза держатель для бумаг – две тонких бронзовых руки, между которыми были зажаты письма в голубых и сиреневых конвертах. Он тотчас догадался, почему обратил внимание именно на эту вещичку: руки были похожи на Асины – даже в бронзе они казались нервными, неспокойными. С нею вообще было неспокойно; пожалуй, в этом и состояла ее притягательность.

Книжные полки Константин рассмотреть не успел: Ася снова вошла в комнату. В руке у нее было две бутылки – одна с вином, а другая, открытая, к его удивлению, с шампанским.

– Что, Гришка и шампанское принес? – спросил он.

– Что вы, – покачала головой Ася, – какое теперь шампанское? Хотя у большевиков, возможно… Нет, это просто бульон. Ваш коллега принес говядину, и я сварила.

– Бульон в бутылке? – удивленно спросил Константин.

– Ну да, – кивнула Ася. – Моя бабушка так варила, и мама тоже. Это старый рецепт крепкого бульона, так всегда готовили для больных. Я думаю, ваша мама тоже этот рецепт знала.

Его мама замерзла пьяная на улице через два года после смерти отца; Константину было тогда тринадцать лет. Но об этом Асе было знать необязательно.

– Может быть, – пожал он плечами. – Но она рано умерла, а в детстве я, кажется, не болел.

– Надо мелко изрубить мясо, сложить его в бутылку от шампанского и плотно закупорить, – с серьезным видом объяснила Ася, – а потом поставить бутылку в кастрюлю с кипятком и варить несколько часов. Тогда и получится чашка крепчайшего бульона – совсем без воды, чистый мясной сок. Конечно, надо было бы взять самое свежее мясо, но уж что нашлось. Теперь ведь мяса вообще нет, лошадиное только. А это все же говядина.

– Сколько же дров вы потратили, чтобы такое сварить? – спросил Константин. – Что ни говорите, Ася, а мне стыдно, что я…

– Но дрова же принесли сразу вслед за вами. – Она пожала плечами. – Ведь в комнате тепло, разве вы не чувствуете? А экономить я все равно ничего не умею. Я ведь всегда жила, как французы говорят, от руки ко рту и из всей Библии любила одну только фразу: что завтрашний день сам о себе подумает. Да и знаете, что мне кажется? Как прежде неприлично было не иметь многих вещей, так теперь неприлично их иметь… Пейте бульон, Костя, и пейте вино. Думаю, вам полезно будет опьянеть.

– Это почему же? – улыбнулся он.

– А потому что в глазах у вас только-только появились такие огоньки, как вот, знаете, роса на молодой траве, и глаза у вас стали лихие, и мне это нравится. Вот и опьянейте, пока не пошли вы снова на эту вашу службу пролетариату, или кому там еще, и не стали у вас глаза опять суровые.

Глава 6

У рыночной площади Анна вошла под аркады старинных торговых рядов и закрыла зонтик. А потом забыла его открыть и только в кафе «Педрокки» заметила, что волосы у нее совсем мокрые. Сергей любил когда-то, чтобы волосы у нее были мокрые, и вот именно от дождя, а не от мытья головы, хотя как можно было определить разницу?.. Ну да это было так давно, что теперь не имело значения.

Она сняла плащ и уселась за свободный столик в углу, прямо под мраморной доской с цитатой из Стендаля. Когда-то Стендаль посещал это знаменитое падуанское кафе, а потом похвалил в своей книжке какой-то здешний божественный десерт; эта цитата и была теперь увековечена в мраморе. Что и говорить, владельцы «Педрокки» знали толк в изысканном пиаре.

Анна пришла немного раньше, чем договорилась с Марко, и сделала это специально. Ей хотелось посидеть в одиночестве и понять, чего она ждет от этой встречи: только возможности вернуть ему тетради и проститься или чего-то еще? В последние две недели у нее просто не было времени на то, чтобы это понять. Или, может быть, она специально выстраивала свою двухнедельную жизнь в Италии так, чтобы не иметь на это времени.

Впрочем, одиночество в «Педрокки» можно было считать весьма относительным, хотя все европейские кафе тем и были хороши, что многолюдство в них не исключало одиночество. Но именно в этом кафе правило нарушалось, видимо, потому что по старой традиции здесь можно было сидеть, вообще ничего не заказывая. Это было когда-то сделано специально ради студентов – университет находился даже не в двух, а в одном шаге отсюда, – и студенты этой своей привилегией охотно пользовались, назначая в «Педрокки» свидания, болтая часами и вообще чувствуя себя здесь как дома, если не лучше.

Вообще-то Анне нравился молодой шумок вокруг, но сегодня он ее отвлекал, не давал сосредоточиться.

– Извините, Анна, я все-таки, кажется, опоздал, – услышала она и вздрогнула от неожиданности.

Марко уже сидел на стуле напротив и стряхивал с волос редкие дождевые капли. Он был точно такой, как в то утро на вилле Маливерни, когда она садилась в такси, чтобы ехать в Падую, а он стоял у открытых ворот и молча смотрел ей вслед. Но, глядя на него, точно такого же – на его внимательные карие глаза, лежащие мягкими волнами каштановые волосы, тонкие, с длинными пальцами руки, – Анна поняла, что видит его теперь другими глазами. Спокойными глазами.

Так оно и должно было стать, так оно и стало, но что-то легонько кольнуло ее в сердце, как только она это поняла. Все стало так, как диктовал ей жизненный опыт. Неизвестно, правда, откуда он у нее взялся, этот опыт остывающего сердца – разве ей приходилось когда-нибудь расставаться с мужчиной, с которым должна была случиться, но не случилась любовь?

«Из книжек, наверное, – мельком подумала Анна. – А жаль, что только из книжек».

Может быть, она знала о том, как это бывает, все-таки не только из книжек, а потому, что какие-то совсем другие, на это непохожие события проходили через ее душу и преломлялись в ней, создавая опыт гораздо более широкий, чем события эти непосредственно в себе заключали. Но вообще-то – кто знает, откуда берется душевный опыт, и с какими событиями он связан, и каким образом связан?

Думать об этом было уже некогда.

– Вы не опоздали, Марко, это я пришла раньше, – ответила Анна. – Здравствуйте, я рада вас видеть.

Она произнесла эту вежливую фразу легко, взглянула на него приветливо, и это не стоило ей ни малейшего усилия.

– Я тоже очень рад, – улыбнулся он и неожиданно добавил: – Знаете, Анна, вы совершенно европейская женщина, вам об этом не говорили?

– Кажется, нет. – Она пожала плечами и тоже улыбнулась в ответ. – А в чем это выражается?

– В том, что вы не занимаете всего объема, который вам предложен, а оставляете место собеседнику, – объяснил Марко. – И собеседнику с вами поэтому комфортно. Неужели вам действительно никто об этом не говорил?

Вообще-то ей говорили когда-то, что она с мужем – совершенно европейская пара. Сергей тогда только начинал работать в «Форсайт энд Уилкис», он впервые приехал в Лондон с женой, и Джереми Форсайт сказал за ужином в ресторане:

– Вы очень европейская пара, очень. У мистера Ермолова чувствуется в лице привычка к усилию воли, а это, по-моему, совсем не русская черта.

Кажется, Сергей тогда что-то возразил ему насчет русских и нерусских черт – наверное, патриотизм некстати взыграл, – и Форсайт не успел поэтому объяснить, в чем заключается европейскость миссис Ермоловой. Тогда ей это было интересно, а теперь, пожалуй, все равно.

– Спасибо, Марко, – еще раз улыбнулась Анна. – Мне приятно, если вы чувствуете себя со мной комфортно.

– Я чувствую себя именно так. – Он тоже улыбнулся, но глаза остались грустными, даже тревожными.

– Я хочу вернуть тетради, – сказала Анна, отводя взгляд от его глаз. – Если бы вы знали, как я вам благодарна! Я сделала копии и пересняла фотографию, спасибо, что вы мне это позволили. Это такая непонятная история… И странно: у меня такое чувство, будто она имеет ко мне какое-то отношение, хотя какое бы? Я не понимаю… К тому же ваша бабушка писала очень обрывисто, это даже не дневник, а так, импрессии. У меня здесь просто не было времени во всем разобраться. Надо будет расспросить свекровь, мне кажется, она должна знать об этом хоть что-нибудь.

– Вероятно, кое-что знает и мой отец, – сказал Марко. – Кое-что такое, о чем не хочет говорить. Может быть, вам стоит расспросить его?

– Но как же я стану его расспрашивать, если он не хочет об этом говорить? – возразила Анна. – Нет, пусть все остается как есть. Прошлого вообще лучше не тревожить; прошло и прошло. Тогда душа будет в безопасности, – неожиданно

для себя добавила она.

Марко посмотрел на нее внимательно и без недоумения – или по себе знал то, о чем она говорила, или что-то читал в ее сердце. И скорее второе: та тревога, которая никогда не уходила из его глаз, наверняка была связана с глубокой душевной проницательностью, это Анна понимала.

– Может быть, я отвезу вас в аэропорт? – предложил он.

– Нет, Марко, спасибо, я уже вызвала такси в отель. Я буду рада видеть вас в Москве.

Он ничего не ответил. А что он должен был ответить на эти пустые, ничего не значащие ее слова?

Анна остановилась у выхода из-за таможенной стойки, поискала взглядом Матвея – и сразу увидела мужа. Сергей бросил сигарету и пошел навстречу жене, протягивая руку к ее чемодану.

– Что случилось, Сергей? – встревоженно спросила она.

– Здравствуй, Аня, здравствуй. – Он улыбнулся краешком губ. – Почему сразу «случилось»?

– А Матюшка где? Я же ему из самолета позвонила прямо перед вылетом, и он сказал, что встретит…

Матвей сам встречал и провожал ее с тех пор, как получил права, хотя вполне можно было поручить это водителю. Поэтому нарушение традиции и вызвало у Анны тревогу.

– Ну, это он погорячился. – Теперь Сергей улыбнулся отчетливо и успокаивающе. – Ты ему во Владикавказ позвонила, так что встретить тебя он явно не успел бы.

– Почему во Владикавказ? – вздрогнула Анна. – То есть как во Владикавказ?!

Накануне вечером она смотрела в отеле новости Си-эн-эн и знала, что во Владикавказе случился взрыв – на рынке, кажется. Взрывы, особенно на Кавказе, стали уже таким привычным фоном жизни, что Анна даже не помнила теперь, что подумала, узнав об этом… И вот, словно в ответ на ее равнодушие, оказывается, что все это имеет к ней непосредственное отношение!

– Аня, ну ничего ведь страшного. – Сергей умел говорить так, что успокоился бы даже смерч, но Анна знала, что он это умеет, и потому успокоиться не могла. – Взорвалось-то вчера, а улетел он сегодня утром. Там уже все нормально.

– Сережа, как же мы это позволили? – чуть не плача, сказала Анна. – Как же мы позволяем ему заниматься черт знает чем, ездить черт знает с кем, и куда ездить, и зачем, ради какой такой великой цели?!

– Никакой великой цели, – кивнул Сергей. – Депутат изображает интерес к жизни избирателей – пиарится над взрывной воронкой.

– И что ты ему сказал?

– Депутату? Ничего не сказал, я с ним незнаком.

– Сергей, мне не до шуток! – рассердилась Анна. – Матюшке что ты сказал? Или он тебе уже только из Владикавказа позвонил? – догадалась она.

– Конечно. Позвонил, сообщил, что не может тебя встретить. И что я, по-твоему, должен был ему говорить? Ну, сказал, что дурная голова ногам покоя не дает, а он мне, естественно, ответил, что с годами у него это, возможно, пройдет.

– Когда он вернется? – вздохнула Анна.

Сетовать на то, что мужчина совершает безрассудные поступки, было совершенно бесполезно, ей ли было этого не знать! А сын ее был мужчиной до мозга костей, и это она тоже знала.

– Аня, поехали домой, – напомнил Сергей. – Он и правда уже взрослый, с этим теперь ничего не поделаешь. Только еще молодой взрослый, оттого и охота к перемене мест и видов деятельности. Пойдем, пойдем, в машине поговорим.

– Ну конечно, не пьет, не колется, спасибо и на том, – пробормотала Анна уже в спину мужу.

Все-таки его взгляд и голос до сих пор действовали на нее совершенно необъяснимым образом. Она успокоилась как-то незаметно для себя, хотя в его словах не было ничего такого, что успокаивало бы логикой и смыслом.

Сергей открыл перед Анной дверцу «Вольво», и этот вежливый жест сразу отрезвил ее. Сын, тревога за него – это было единственное, что связывало их не умом, а чувствами. А когда тревога прошла, прошел и эмоциональный всплеск, и осталось то, что давно уже только и объединяло их в повседневной жизни: взаимная вежливость, обычная предупредительность внимательных друг к другу, почти посторонних людей.

– Как твои виллы? – спросил Сергей, выруливая на Киевское шоссе.

– Прекрасно, – ответила Анна. – Они прекрасны, я все их осмотрела и лично в этом убедилась. В них даже картины можно не вешать – достаточно просто открыть окно. Фотограф отснимет, я напишу, и дадим в апрельский номер. А как твоя выставка? – в ответ поинтересовалась она.

Выставка хайтековского оборудования происходила каждую осень, и Сергеева фирма много лет подряд в ней участвовала, поэтому Анна и знала об этом мероприятии. А муж знал о подробностях ее командировки, наверное, от сына.

– Не так прекрасна, как виллы Палладио, но тоже ничего, – кивнул Сергей. – Три приличных контракта, как я и предполагал. Спасибо свободе слова, хоть и относительной. Она меня обогащает, – усмехнулся он.

Фирма «Форсайт энд Уилкис», совладельцем которой был теперь Сергей, продавала профессиональное телевизионное оборудование, поэтому появление новых телеканалов и в самом деле тут же сказывалось на его бизнесе. Телевизионщикам, естественно, нужна была техника, а конкурентов на восточноевропейском рынке у «Форсайт энд Уилкис» благодаря деятельности мистера Ермолова практически не было.

Так, перебрасываясь какими-то неважными фразами и думая каждый о своем, они доехали до дому.

Сергей внес чемодан в гостиную и спросил:

– От меня что-нибудь нужно, Аня? Если нет, то я уеду.

– Ничего не нужно, спасибо, – кивнула она. – Ты обедал?

– Я обедал, продукты в холодильнике. Я поехал, – ответил он.

Они уже давно, по какой-то негласной договоренности, не обсуждали, где он будет обедать. И по той же негласной договоренности он всегда мог пообедать дома, и если он приезжал домой, то привозил продукты. А если не приезжал, то привозил потом, а без него Анна покупала их сама. Все это было такой мелочью, которую не стоило и обсуждать. Они и не обсуждали.

Странным было лишь то, что она до сих пор чувствовала разницу между его присутствием и его отсутствием дома, даже если он вообще не выходил из кабинета. И до сих пор его отсутствие вызывало в ее душе какое-то странное, совершенно необъяснимое чувство.

Анна забыть не могла тот день, когда осознала в себе это чувство впервые и в соответствии с ним построила новую свою жизнь.

Это случалось со многими, это случалось почти со всеми, но, когда это случилось с нею, Анна этого даже не поняла. Не потому что считала себя исключительной и необыкновенной, а потому что их с Сергеем жизнь… как-то исключала саму возможность этого. Исключала, но, выходит, не исключила.

Сначала она заметила, что он неспокоен. Она сразу заметила именно это, а не его участившиеся командировки – заметила потому, что ей всегда казалось главным внутреннее состояние мужа, а не внешние признаки его жизни. К тому же Сергей и душевное неспокойствие – это было так странно, так непривычно, что просто не могло не броситься в глаза. Да сами по себе командировки и не должны были ее удивлять. С тех пор как он ушел из университета и занялся

бизнесом, командировки бывали постоянно – по России, по полузарубежным республикам. Телевизионное оборудование требовалось везде, и Сергей все понял правильно: кто первым предложит этот товар, тот и сделается главным его поставщиком на многие годы вперед.

Конечно, Анна начала волноваться, когда он стал уезжать каждую неделю, не возвращаясь иногда даже к выходным. Но волновалась она не за себя – за себя-то с чего бы? – а за него: что он устает, что осунулся, что лицо стало совсем уж непроницаемое от какого-то постоянного внутреннего напряжения… Правда, ее удивляла его холодность к ней, его неожиданная ночная отчужденность, но она не решалась спросить мужа о причинах этой отчужденности. Да и какие могут быть причины, кроме усталости?.. Конечно, это все же казалось ей странным: Анна-то знала, что ее внешне предельно, даже беспредельно спокойный муж так страстно, так молодо требователен ночами, как это и в голову не может прийти постороннему человеку при взгляде на него. В тридцать семь лет близость с женой была ему, кажется, даже более необходима, чем в двадцать, а уж наслаждение от этой почти еженощной близости теперь точно было сильнее для них обоих…

Но мало ли что казалось ей странным! Еще более странным, а точнее, стыдным было бы требовать у него… И чего же требовать – чтобы он прикоснулся в темноте губами к ее виску и по этому первому, возможному даже на людях прикосновению губ она сразу почувствовала бы его желание, и почувствовала бы, как губы его мгновенно пересыхают – вот только что были обычные и тут же стали горячие и сухие, как у летчика в пустыне в книжках Экзюпери?.. Или это она выдумала, будто у летчика в пустыне были сухие губы? Да неважно, что она там выдумала про летчика – у Сергея-то они были именно такие!

Однажды Анна читала интервью какого-то американского кинорежиссера, и тот говорил, что, как ни странно, в России почти невозможно найти актера на роль, например, Вронского в «Анне Карениной». Потому что русские актеры не умеют просто положить женщине руку на плечо, но положить так, чтобы сразу было понятно: этот мужчина всем собою хочет эту женщину; вместо этого они начинают изображать дрожанье рук и хлопотать лицом.

Анна даже не поняла тогда, о чем он говорит, этот режиссер. Муж был единственным мужчиной, которого она знала, и этому ее единственному мужчине достаточно было не то что руку положить ей на плечо – только взглянуть в ее сторону, чтобы она сразу же увидела, какая страсть поднимается

в его для всех спокойных глазах, и как они темнеют от этой глубоко скрытой страсти. Только маленькое, похожее на тонкую стрелу белое пятнышко появлялось у его виска как внешний ее знак.

И вот теперь этот мужчина лежал рядом с нею на их широкой жемчужной кровати в прозрачной спальне, недавно устроенной на крыше, и делал вид, что спит. Или говорил, что ему не спится, и выходил курить в кабинет, да так и засыпал там на диване.

Любая женщина, прожившая с мужем пятнадцать лет, наверняка объяснила бы Анне, какую причину подобного поведения надо счесть первой и главной. Но что за дело ей было до любых женщин и их мужей, когда эти пятнадцать лет замужества дали ей не унылый житейский опыт, а совсем другое – то, что и не снилось любым другим женщинам?..

– Сережа, – все-таки спросила она однажды ночью, пытаясь заглянуть в его лицо, – у тебя что-то случилось на работе?

Он помедлил, потом повернулся к ней, прямо взглянул в глаза. Шторы на стеклянных стенах были задернуты не до конца, в спальне стоял полумрак или, наоборот, полусвет от уличных огней, и Анна увидела, что в глазах ее мужа нет ни капли обычного спокойствия.

А что стоит сейчас в его глазах, она не поняла, потому что испугалась.

– Нет, – помедлив, ответил он. – На работе ничего не случилось.

– А… где случилось? – растерянно переспросила Анна.

Сергей промолчал, а она поняла, что и не хочет услышать ответ.

Но услышать его все же пришлось, и уже через день после того невнятного ночного разговора.

Был вечер субботы, Сергей сидел в гостиной у телевизора, Анна готовила ужин, и сердце ей сжимала такая тоска, что она боялась войти в комнату, где сидел в одиночестве ее муж. К счастью, Матюшка уехал на зимние каникулы с бабушкой

Антошей в Египет. Это был ему подарок к Новому году, Сергей впервые мог сделать ему такой новогодний подарок и, конечно, сделал. Поэтому Анне теперь, по крайней мере, не надо было совершать над собою усилие, чтобы казаться веселой в присутствии сына.

В прихожей едва слышно запиликал телефон – не квартирный, а Сергеев сотовый; наверное, он зазвонил в кармане его плаща. Кухня была рядом с прихожей, поэтому голос мужа доносился отчетливо и слышна была каждая фраза.

– Да! – услышала Анна и тут же почувствовала, как он напрягся. Хотя как она могла почувствовать это по единственному слову? – Дарья Егоровна, почему звоните вы, а не Амалия, где она опять? – И, услышав это нелепое, вычурное имя, которое Сергей произнес с какой-то совершенно ей неизвестной, задыхающейся интонацией, Анна почувствовала, как что-то обрывается у нее внутри. Он некоторое время молчал, наверное, слушал, что ему говорила эта Дарья Егоровна, а потом вдруг заорал – так яростно, что Анна вздрогнула; она никогда не слышала, чтобы ее муж разговаривал с кем-нибудь даже вполовину таким тоном: – Какой еще конский щавель?! Не смейте ничего ей давать, угробите ребенка! Вызывайте «Скорую», и никакое не «жалко Марусеньку отдавать», а если скажут: в больницу – значит, в больницу. А если не скажут, то делайте, что скажут, и ждите меня. Я постараюсь поскорее, – произнес он уже спокойнее.

Но сразу вслед за этими его словами Анна услышала такой мат, какого не только никогда не слышала от мужа сама – она-то вообще от него мата не слышала, – но о котором и не предполагала, что Сергей может вслух такое произнести.

Она думала, что Сергей зайдет на кухню и хоть что-то ей скажет. Она все еще не могла поверить в то, что его жизнь переменилась и в этой новой своей жизни он больше не придет к ней в минуту растерянности или, наоборот, душевного подъема. Она стояла рядом с плитой, сжимая в руке деревянную лопатку и не замечая, как на сковородке пригорают отбивные, и ждала, что он сейчас появится в дверях.

Но Сергей не появился, и, расслышав, что он одевается в прихожей, Анна вышла из кухни сама, по-прежнему с дурацкой лопаткой в руке.

– Сережа, что случилось? – спросила она, зачем-то стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. Как будто это теперь хоть что-то значило! – Кто такая… Марусенька?..

Она спросила про Марусеньку, потому что просто не могла произнести то, другое имя, которое ее муж произнес с таким чужим, таким невозможным придыханием.

Он хлопал себя по карманам, проверяя ключи от машины. А когда посмотрел на нее, Анна поняла, что перед нею стоит совершенно незнакомый человек. Знакомым было только белое пятнышко-стрела, протянувшееся от глаза до виска.

– Марусенька – это ребенок, – сказал Сергей. – Маленький ребенок. А Амалия – это ее мама. Ведь ты это хотела спросить, Аня? Это так, и с этим я ничего не могу поделать.

Он вышел; хлопнула дверь.

Анна положила деревянную лопатку на подзеркальник и тоже вышла, но не на улицу, а в комнату. Она не могла оставаться в прихожей: ей казалось, что Сергей еще отражается в зеркале.

В гостиной она медленно опустилась на узкую, изогнутую колбасой козетку. Сергей всегда смеялся над этим неудобным то ли сиденьем, то ли ложем и всегда говорил, что подобной мебелью могли пользоваться только люди, привыкшие жить напоказ. Но козетка была старинная, она стояла в этой комнате задолго до его рождения, и, конечно, никому не пришло бы в голову от нее избавиться. Это вообще была такая квартира, в которой сложившийся порядок вещей нарушить было невозможно, потому что этот порядок был овеян какой-то давно ушедшей, но очень сильной жизнью.

Анна обвела комнату одним долгим взглядом и вдруг поняла, что Сергея здесь нет, и не просто нет, потому что он на работе или в командировке, а вообще нет. Все его есть: открытая на середине книга – «Улисс», которого он читал по-английски, коробка с заготовками для сигарет – в Англии он приохотился вручную набивать сигареты, каждый раз выбирая новый табак, тяжелая зажигалка, сделанная из ружейной гильзы еще, кажется, в Первую мировую

войну, военный же портсигар из вороненой стали, – все его есть, а самого его нет и уже не будет. Он ушел из этого дома, и пустота, заменившая его, оказалась так ужасна, что у Анны потемнело в глазах. Эта жуткая могильная пустота была страшнее, чем нелепое имя, произнесенное с придыханием, и страшнее, чем ложь, в которой они жили, получается, давно, раз была уже даже Марусенька, и страшнее, чем его холодность в их жемчужной постели… Пустота без него была страшнее всего, и с этим ничего нельзя было поделать.

Анна не помнила, как прошла эта ночь, и весь следующий день, и вечер. Она, наверное, что-то делала, то есть ничего она толком, конечно, не делала, но все-таки производила ведь какие-то движения: выключила огонь под задымившейся сковородкой, выключила телевизор, пересела с козетки в кресло, полистала «Улисса»… Что еще она делала, Анна вспомнить не могла. Да, кажется, еще заводила музыкальную шкатулку, которая стояла у Сергея на столе в кабинете: один за другим вставляла в нее картонные трафареты, накручивала тугую ручку и смотрела, как вращается медный игольчатый валик, и слушала, как звенят серебряные колокольчики и менуэт сменяется гроссфатером, а потом какой-то нежной, совсем простой мелодией… Это было самое осмысленное ее занятие за воскресенье, но и оно не имело смысла.

Когда открылась и закрылась входная дверь, она поняла, что в прихожую выходить не надо. Но, поняв это, Анна поняла – вернее, почувствовала – и другое: что сердце у нее встало на место, когда хлопнула входная дверь. Это было совсем не то место, где находилось прежде ее сердце, но оно все-таки встало куда-то. Конечно, она еще не понимала, куда, но ведь все последние сутки ее сердце просто дрожало в пустоте.

Сергей сам вошел в гостиную – не раздеваясь, как почтальон или слесарь. Он помолчал, глядя на жену, потом сказал:

– Если ты скажешь, что я должен уйти, – я уйду. Но это единственное, что я могу тебе обещать.

Надо было ему ответить. И ответить надо было то, что определит их жизнь не на сегодня и не на ближайшую неделю или месяц, а навсегда. «В горе и в радости, в нужде и в богатстве, пока смерть не разлучит вас» – так, кажется, это говорилось совсем по другому поводу… Надо было ответить правду, сказать то, что она чувствовала. Но мучительность происходящего заключалась в том, что единственная правда, которую Анна чувствовала, обрекала их обоих на

бесконечную ложь.

– Сережа, я не скажу, что ты должен уйти, – наконец выговорила она. – Я этого не знаю. И не надо мне ничего обещать. Оставайся.

Он стоял на пороге гостиной, смотрел на нее потемневшими, навсегда теперь непонятными глазами; белое пятнышко стрелой впивалось ему в висок. Потом он медленно расстегнул мокрый плащ. Анна вышла из комнаты.

Глава 7

Матюшка вырос и стал не совсем ее, а «Предметный мир» остался совсем ее, и Анна могла относиться к нему если не как к своему ребенку – она ни к кому и ни к чему не могла относиться так, как к своему ребенку, – то по крайней мере как к своему детищу.

Она любила этот журнал, потому что он был совершенно такой, каким она хотела его видеть. Никто не диктовал ей, каким он должен быть, никто и ничего ей в связи с ним не навязывал, и если она решала, что караимские или мордовские вышивки, которыми всю жизнь занималась Валентина, – это интересно, то никто не мог ей помешать отвести под съемку вышивок хоть половину номера.

Да они и правда были интересные, эти вышивки, в них было так много изящества, до изысканности простого, что даже человек с менее развитым, чем у Анны, вкусом не мог этого не заметить. Мордовские вышивки были белые, а караимские – черные с золотом, и были еще смоленские – те делались нитками, крашенными соком каких-то цветов и трав, и выглядели поэтому такими же живыми, как сами эти цветы и травы.

Анна сидела в редакции за своим столом и рассматривала фотографии вышивок, которые, пока она была в Италии, принес Леша Разин.

– Ну как, Нюрочка? – с тщательно скрываемым волнением спросила Валентина. – Лешка сказал, что у него как раз от Сен-Лорана девица была, когда он

фотографии эти сделал, так прямо сказал, чуть не описалась, на них глядя.

– Да хорошо, Валюшка, хорошо, – улыбнулась Анна. – Я, конечно, не девица от Сен-Лорана, чтобы так оригинально реагировать, но тоже впечатлилась. Статья готова?

– Обижаешь! – хмыкнула Валентина. – Если уж у Павлика про его бараки статья готова, то разве я не подсуечусь? А про бараки и в летний номер не поздно будет дать, небось не развалятся до лета!

Валентина задрапировала всевозможными вышитыми тканями половину редакционного помещения. Чайный столик был покрыт белым украинским полотенцем с черно-красными петухами, на диване лежали смешные провинциальные думочки, расшитые гладью, – пейзаж «Лунная ночь», картина «Северный олень» и прочее в том же духе. А над Валиным столом висели на стене слуцкие шелковые пояса, в персидском узоре которых мелькали ярко-синие васильки. Анна до сих пор не могла привыкнуть к этим поясам, хотя они были все-таки не старинные, а современные под старину; Валентина привезла их из Белоруссии года два назад. Просто слишком много воспоминаний было связано со слуцкими васильковыми узорами.

– Что ж, Палладио и мордовские вышивки – это будет хорошо-о… – задумчиво протянула Анна. – Это у нас хорошее будет сочетание, а, Рита?

– Ничего себе, – пожала плечами Рита – она докрашивала последний ноготь и плечами пожала осторожно, чтобы не смазать синий лак. – Съемка качественная, сверстаем красиво – поди плохо.

Журнал выходил раз в квартал, поэтому ритм работы его сотрудников не был чрезмерно напряженным, хотя во время сдачи номера всегда получалась запарка. Но к этому Анна привыкла, этот ритм был для нее такой же родной, как вышивки на диванных думочках, как огромное пенсне с синими стеклами, на которых были нарисованы зрачки, – вывеска дореволюционного магазина оптики, каким-то неведомым образом попавшая в редакцию еще до того, как Анна здесь появилась. То есть, значит, в незапамятные времена, потому что она впервые переступила этот порог, когда ей было шестнадцать лет.

Конечно, тогда журнал назывался скучно, и ни о каких статьях про виллы Палладио в нем так же не могло быть речи, как о рекламе, о которой тогда никто понятия не имел. Но все-таки это был прекрасный журнал, самый необыкновенный из всех, какие Анне приходилось видеть, и он потряс ее с первого взгляда. Все ее потрясло, даже большая редакционная квартира с разноуровневыми скрипучими полами.

Она оказалась здесь совершенно случайно, и именно поэтому еще в ранней юности усвоила истину о том, что случайностей в жизни не бывает. Истина эта, конечно, считалась банальной, но для Анны она значила еще и то, что никаких банальностей как таковых в жизни не бывает тоже.

Сначала она хотела стать балериной. Мамина подруга Женя работала в Большом театре и подарила ей на Новый год настоящую балетную пачку из «Танца маленьких лебедей». И, только увидев эту пачку, только проведя ладонью по жестким, слоистым тюлевым оборкам, Аня сразу поняла, что ее жизнь теперь переменится совершенно.

Вслед за пачкой тете Жене пришлось подарить пуанты – тоже старые, для сцены уже не годящиеся, но настоящие, – и Аня часами училась стоять на них, ни за что не держась руками. Это оказалось ужасно трудно – она то и дело падала, теряя равновесие, пальцы на ногах болели, – но такие мелочи Аню не останавливали. Впервые в жизни ее полностью захватило дело, настоящее взрослое дело, к тому же не просто взрослое, а необыкновенное, такое, каким не занимаются обычные люди, которых каждый день видишь на улице, – и она готова была заниматься этим делом хоть сутки напролет. Она даже школу разлюбила, хотя ее английская школа была так не напоказ хороша, что Аня и к своему шестому классу не потеряла к ней интерес.

– Анечка, – осторожно сказала однажды мама, – я вижу, ты увлечена… А ведь тебе уже поздно увлекаться этим всерьез, разве ты не понимаешь? Деточка, ведь это балет, в тринадцать лет им заниматься не начинают… Если ты мне не веришь, то тетя Женя тебя к специалистам может сводить, они тебе то же самое объяснят.

Конечно, Аня не поверила маме. Она не поверила бы и старой балерине, к которой ее уже назавтра действительно отвела тетя Женя: слишком

неожиданным, слишком сильным был этот удар… Но вместе с тем Аня с самого раннего детства привыкла ни в чем не притворяться перед собою. То есть она даже не знала, что это называется «не притворяться перед собою», но как-то всегда понимала: если ты точно знаешь, что хочешь качаться весь день на качелях, то не надо уверять себя, будто ты хочешь читать. Читать, может быть, и правильнее, но через пять минут этого правильного занятия книга все равно вывалится у тебя из рук, ты плюнешь да и пойдешь себе качаться на качелях.

Пачку и пуанты Аня спрятала в шкаф с такой решительностью, которой даже мама от нее не ожидала, хотя вообще-то неплохо знала ее характер.

Но кем-то ведь надо было хотеть стать, все в их классе хотели стать кем-нибудь особенным – архитектором или даже космонавтом. Самая красивая девчонка, Зина Рыбакова, собиралась стать актрисой, и это было почти похоже на балерину, но Аню все-таки не привлекало. Ей казалось, что актриса – это притворство и какие-то чересчур напыщенные слова, которые зачем-то надо произносить вслух, в то время как балерина – это чистая, совершенно непритворная красота, которая даже слов не требует. И к тому же Аня от кого-то слышала, что у хорошей актрисы должны быть «слезки близко – слезки на колесках», а у нее слезки всегда были очень глубоко.

Все это значило, что ясная балетная красота для нее невозможна, то есть про балет надо забыть и думать о чем-нибудь таком, что для нее возможно. Например, о журналистике. Аня лучше всех в классе писала сочинения, учительница литературы говорила, что у нее здравые мысли и внятный слог, – и почему бы ей, в таком случае, было не поступить на журфак?

В четырнадцать лет она написала свою первую заметку про выставку детского рисунка и отнесла ее в клуб юных репортеров, работавший при газете «Комсомольская правда», а в шестнадцать уже писала для «Комсомолки» не только простенькие заметочки, но даже репортажи, и это ей нравилось, и было понятно, что на журфак она поступит и хорошей журналисткой станет непременно.

Она не только писала для «Комсомолки», но и была уже своим человеком в отделе культуры, приходя туда не реже раза в неделю. Поэтому, когда заведующий отделом Андрей Александрович попросил ее по дороге домой «без обиды поработать курьером» и забросить его статью в редакцию одного журнала, Аня только посмеялась: ну какие могут быть на Асаныча обиды, что за

ерунда!

Правда, редакция оказалась для нее не то чтобы по дороге – Аня жила на Ломоносовском проспекте, в университетском доме, а журнал находился на углу Чехова и Садовой-Триумфальной, – но это тоже было ерундой, не стоящей размышлений.

Лифт доезжал только до пятого этажа, а на шестой, где располагалась редакция, надо было подниматься пешком, и это уже было как-то необычно. Аня привыкла, что редакция – это серьезно, что туда не войдешь просто так, с улицы, что у металлической «вертушки» стоит милиционер и надо заказывать пропуск… А тут – простая дверь, и рядом на лестничной площадке точно такая же, только и разницы, что на одной номер квартиры, а на другой медная табличка с надписью «Декоративно-прикладное искусство».

Она нажала на кнопку звонка, тоже самого обыкновенного, к тому же дребезжащего, и дверь распахнулась так быстро, словно открывший ее человек специально караулил на пороге.

– Инна Герасимовна! – услышала Аня и даже отшатнулась от неожиданности. – Ну почему все я?! Из Главлита звонят, из типографии звонят, а я откуда знаю, что им всем говорить?

– Андрей Александрович Петров просил передать его статью Инне Герасимовне Горбенко…

Аня так растерялась, что даже забыла поздороваться. Впрочем, девушка, так темпераментно ее встретившая, в ее приветствиях, судя по всему, не нуждалась. Она была молодая, худенькая и подвижная, с резкими чертами некрасивого лица и хрипловатым голосом.

– Ну, жди, раз Инне Герасимовне. – Она пожала плечами и отступила от двери, пропуская Аню в прихожую. – Может, и дождешься, если соизволят явиться. Начальство не опаздывает – начальство задерживается! – сердито хмыкнула она.

Аня присела на гнутый венский стул и обвела глазами комнату, в которой ей предстояло ждать неведомую Инну Герасимовну. И чуть не ахнула – такая она

была необычная, эта комната. Если даже дверь редакции не была похожа на простую редакционную дверь, то сама редакция и вовсе не напоминала контору.

По всей просторной комнате были разложены фрукты и овощи. Аня даже головой потрясла – решила, что это ей просто мерещится. Ну что здесь, овощной магазин, что ли? Но потом она догадалась, что фрукты и овощи не настоящие, потому что откуда в Москве в начале июня вдруг возьмутся арбузы и дыни или, того похлеще, мандарины, ведь теперь не Новый год! К тому же все это фруктовое великолепие было живописно разбросано по полу или разложено в лыковые корзинки и расставлено по комодам и полкам. В углу, рядом со столом, за которым сидела девушка с хриплым голосом, стояла самая большая корзина, доверху наполненная репой, морковкой, помидорами и огурцами.

«Интересно, когда репа созревает? – подумала Аня. – Может быть, как раз летом?»

Репу она увидела наяву впервые и узнала ее только по картинкам к сказке про репку.

– Продуктами нашими любуешься? – спросила девушка. – Это что, – похвасталась она, – у нас еще швейцарский сыр есть, целых полголовки с дырками. И окорок здоровенный. Я такой вообще только тут и видела.

– А откуда у вас швейцарский сыр? – спросила Аня. – И зачем он вам?

– Бутерброды к чаю делаем! – засмеялась та и снисходительно объяснила: – Да они же муляжи – и сыр, и арбузы всякие. Из воска или деревянные. А хорошо бы, – мечтательным тоном заметила она, – утречком так себе приходишь на работу, а тут тебе окорок здоровущий и сырок импортный – ешь не хочу…

– А где у вас этот сыр? – спросила Аня. – То есть муляж.

– Не веришь, что ли? – обиделась девушка. – Да он у Инны твоей в кабинете, придет – убедишься. Любуйся пока вон ботинком, если охота.

Она кивнула Ане за спину, и, обернувшись, та увидела в противоположном углу комнаты огромный, в половину человеческого роста ботинок, украшенный

почему-то золотыми гербами и медалями. Ботинок производил еще более ошеломляющее впечатление, чем дыня в лыковой корзинке; от неожиданности Аня даже рассмеялась.

Видно, хозяйке комнаты был приятен интерес гостьи ко всем этим необычностям. Она улыбнулась с таким торжеством, как будто ей вручили награду.

– А это что? – спросила Аня, показывая на шарообразные и грушевидные стеклянные сосуды, стоящие на ступеньках.

В ней еще и ступеньки были, в этой редакции, притом прямо посреди комнаты!

В сосуды была налита разноцветная – голубая, зеленая, лимонная – жидкость. Лучи вечернего солнца, проникая в окно, освещали эти шары и груши, и они смотрелись так фантастически, что Ане показалось, будто она попала в декорации какого-нибудь фильма.

– А пес его знает! – хихикнула девушка. – Какое-то излишество барской жизни, надо полагать. Это мы недавно на чердаке нашли. Начальству, наверное, известно, а мне еще не сообщили. Меня Наташей зовут, а ты у нас кто?

– Аня Веснина.

– Слушай, Аня Веснина, а сигарет у тебя нету? – поинтересовалась девушка. – Курить хочется, просто смерть, а зарплата, понимаешь, только в понедельник, денег нет, хоть удавись, даже на пачку «Дуката».

– Я не курю, – смущенно сказала Аня.

Ей даже как-то неловко стало оттого, что она не курит и ничем не может порадовать эту девчонку – теперь она видела, что девчонку, почти свою ровесницу.

– Ну и напрасно, – вздохнула Наташа. – Ладно, ты пока тут кофейку вскипяти, а я пойду к соседям побираться. Авось Сережка дома – подаст Христа ради сигаретку. Если телефон будет звонить, – предупредила она, – говори умным

голосом: «Редакция журнала «Декоративно-прикладное искусство». А то подумают, что у нас сотрудники в рабочее время черт знает где шляются.

– А кроме этого, что говорить? – слегка растерянно спросила Аня.

Но ответом на ее вопрос был только хлопок входной двери.

Впрочем, отвечать на телефонные звонки ей не пришлось: Наташа отсутствовала не больше пяти минут.

– Сережа через часок-другой будет, – сообщила она, передразнивая кого-то. – А что я тут за часок-другой от никотинового голода коньки отброшу, это его мамашке неинтересно. И, главное, Инка, дура старая, кабинет же свой запирает, когда уходит, как будто здесь воры сидят! Так бы у нее можно было поживиться, точно ведь стратегические запасы есть. И не «Дукат» сраный, а «Мальборо» из «Березки», я своими глазами, вот как тебя, видела. Ладно, – вздохнула она, – давай хоть кофейку хряпнем, взбодрим организмы.

За кофе, который, наверное, тоже происходил из валютного магазина, Наташа рассказала Ане, что работается ей здесь вообще-то хорошо, хоть она, конечно, пока никто, а просто подай-принеси – отец жениха по блату устроил, а он у него шишка партийная, отец-то, куда б тут кто делся, взяли ее только так и оформили даже не курьером, а младшим редактором, хоть она и без высшего образования, только вот Инка, Инна Герасимовна то есть, главная редакторша, такая ведьма и змея, что почти как мамаша жениха, одного поля ягоды.

– Я тут на Инке-то натренируюсь, потом и к свекрови привыкать не надо будет! – засмеялась Наташа. – Ну, у Инки, по счастью, любовник имеется, так что на стенку она от злости не лезет и в рабочее время не всегда над душой стоит. А Валентина – это старший редактор у нас – она и вовсе невредная тетка. Клушка только, вечно нудит, что, мол, курить – здоровью вредить. Но сама и выпить не дура после рабочего дня, так что жить можно.

Ане тоже казалось, что жить здесь можно, и даже очень хорошо здесь жить – в этой странной, неправильной формы комнате со ступеньками посередине, и похожим на фонарь эркером, и настоящим фонарем, то есть дореволюционным проектором под названием «волшебный фонарь», который, как объяснила Наташа, тоже нашелся на чердаке.

– Тут вообще не дом, а прям остров сокровищ, – сказала она. – Хорошо поискать, по-моему, сундук с бриллиантами можно найти, не то что дыню восковую. А что ты думаешь, дому-то лет сто, не меньше. Сережка говорил, они недавно ремонт делали, так за книжными полками мешочек нашли, а в нем самые настоящие драгоценности. Хоть и не бриллианты, но все-таки камни, еще называются интересно, вроде как цветы.

– А Сережка – это кто? – спросила Аня.

– А Сережка – это я, – неожиданно раздалось в ответ.

Заболтавшись, они не заметили, как кто-то вошел в редакцию; наверное, Наташа не закрыла дверь. И теперь этот «кто-то» стоял на пороге комнаты, прислонившись плечом к косяку, и смотрел на девчонок внимательными светлыми глазами.

– Ой! – радостно воскликнула Наташа. – Сережечка, солнышко, у тебя сигаретки не будет?

– Не будет, – ответил тот и добавил, прежде чем Наташа успела завопить от отчаяния: – А уже есть.

– Фу-у… – облегченно вздохнула та. – Ну и шутки у тебя, Сергей Константинович, от таких и концы отдать недолго!

Конечно, она назвала его по имени-отчеству тоже шутки ради: Сергею Константиновичу на вид было лет двадцать, не больше. Ну, если больше, то года на два. Правда, он все-таки показался Ане взрослым. То ли потому, что всякий, кто окончил школу, казался ей взрослым, то ли из-за этого вот внимательного взгляда, которым он смотрел на нее. Ей даже чуть-чуть неловко стало под таким взглядом – показалось, что он видит в ней что-то такое необыкновенное, чего в ней на самом деле и помину нет.

– «Ява» явская! – простонала Наташа, с наслаждением затягиваясь первым дымом. – Можно, штучки три возьму? И что б я делала, если б не ты, а, Сережечка?

– Запасы, – ответил он.

– Прям запасы! – даже обиделась Наташа. – Что я, белка, запасы делать? Ого! – вдруг воскликнула она. – А времени-то седьмой час! Да-а, загуляла наша старушка, – подмигнула она Ане. – Нет, кто как себе хочет, а я и так на рабочем месте пятнадцать минут пересидела, пора и на заслуженный отдых. Тем более пятница сегодня. Оставляй вон на том столе свое послание, – сказала она Ане, – да и двинемся потихоньку. Тебе куда ехать, может, по дороге?

– На Ломоносовский. Метро «Университет», – ответила Аня.

– Нет, не по дороге, – с сожалением заметила Наташа. – Я девушка простая, в Марьиной Роще проживаю, у нас там даже метро нету, как в деревне. Вот замуж выйду – на Кутузовский переберусь, – хихикнула она.

– Мне по дороге, – вдруг сказал Сергей. – Я в университет еду.

– Ух ты! – Наташа улыбнулась просто-таки от уха до уха. – Ну, повезло тебе, Аня Веснина. У Сережки-то свои колеса! – сообщила она и, подмигнув, добавила: – Домчит с ветерком, еще и мороженым угостит. Или даже шампанским, а, Сережечка?

– Спасибо, зачем же? – пролепетала Аня. – Это совсем не обязательно…

– Не обязательно, но возможно, – сказал Сергей.

– Это он теорему какую-нибудь произнес, точно тебе говорю, – пояснила Наташа. – Или даже аксиому. Он на математика учится, все теоремы-аксиомы наизусть знает. Ну, пошли, пошли, – поторопила она. – А то, не ровен час, начальство все-таки явится, подкинет работенку.

«Колеса», о которых говорила Наташа и наличие которых так смутило Аню, оказались светло-серым ушастым «Запорожцем».

– Видишь, а ты боялась, – проницательно заметил Сергей, открывая перед Аней дверцу. – Знаешь, что Раневская говорила, когда ее сосед подвозил на таком вот транспорте? «Какое это… гадство со стороны правительства!» – вот что.

Кажется, он только в последнюю секунду решил заменить то, что на самом деле говорила Раневская, словом «гадство». Аня расслышала в его голосе легкую заминку и засмеялась.

– Развеселилась? – спросил Сергей. – Ну и хорошо, тогда поехали.

Это было так неожиданно и так приятно – то, что он, оказывается, хотел ее развеселить, – что Аня чуть не покраснела, хотя вообще-то не краснела даже от очень сильного волнения. Мама говорила, что способность краснеть или не краснеть зависит от глубины расположения под кожей капилляров, но Аня маме не очень верила, хоть та и была биологом. Она считала, что краснеет человек или не краснеет, это зависит от его характера.

Но внимание к ее смущению и веселью этого совсем взрослого студента, которого она впервые увидела всего десять минут назад, так ее поразило, что впору было и покраснеть.

Внимание мужчин, да и не мужчин, конечно, а просто мальчишек, – это был один из самых сложных вопросов Аниной жизни. Его просто никогда не было, этого внимания. Одноклассники, и ребята из параллельного, и из старших классов относились к ней в общем-то неплохо – не издевались, не сторонились, как ябеды Светки Малышевой, – но при этом не испытывали к ней ни капли того интереса, который давно уже испытывали ко многим другим девчонкам. Аня не могла даже представить, чтобы кто-нибудь из них позвонил ей и пригласил пойти в кино, хотя бы и в большой компании, не говоря уже о чем-то более индивидуальном. Никто не имел ничего против нее, но никто и не замечал ее отсутствия и не приходил в восторг от ее присутствия.

Это было для Ани загадкой – вот этот секрет внешнего внимания вообще, и мужского внимания в частности. Почему одни девчонки, даже не самые красивые, привлекают его сразу, а другие не привлекают никогда? И главное, почему она относится к этим «другим»?

«Конечно, внешность у меня самая обыкновенная, – рассуждала Аня, глядя в зеркало. – Не кривая, не косая, нос тоненький, не картошкой, но взгляду зацепиться не за что. И фигура обыкновенная, и даже походка. Но ведь и у Иры Смирновой, например, тоже все самое обыкновенное, и глаза тоже просто серые, как у меня, а за ней полкласса бегает. А почему?»

Ответа на этот вопрос раньше она найти не успела. А теперь, глядя во внимательные – к ней внимательные! – глаза этого Сергея Константиновича, который посматривал на нее, пока мотор его «Запорожца» раскочегаривался с оглушительным треском, теперь Аня вдруг поняла, что уже не ищет ответа.

Все, что было до встречи с ним, – все это было раньше, а теперь все стало другое, и она сразу почувствовала это так же отчетливо, как если бы вдруг надела очки с малиновыми стеклами и увидела бы, что дом на углу Чехова и Садовой-Триумфальной из бело-желтого сделался розово-багряным.

А почему так – это было еще более непонятно, чем все «почему», которые были в ее жизни до сих пор.

Глава 8

Матвей вернулся из Владикавказа мрачнее тучи. Анна поняла это сразу, как только он позвонил ей и сообщил, что уже дома и пусть она не волнуется.

– Матюша, я приеду? – спросила Анна.

Она была уверена, что сын начнет отнекиваться, говорить, что устал и срочно заваливается спать на ближайшие пятнадцать часов, и тогда придется решительно настаивать на своем, убеждая его в необходимости маминого немедленного появления.

Но, к ее удивлению, Матвей довольно вяло ответил:

– Сейчас? Приезжай, я дома буду.

Как ни странно, Анна до сих пор не научилась водить машину, да уже и не предполагала научиться. Это можно было считать странным потому, что вообще-то она легко училась самым разнообразным вещам и в глубине души знала, что, если понадобится, может научиться чему угодно. Но вот этому простому делу, которое более или менее сносно осваивали даже самые бестолковые женщины, она научиться не могла.

Когда-то Сергей пытался ее учить, но после двух-трех уроков без объяснения причин сказал, что лучше это мероприятие бросить. И Анна с удовольствием его послушалась, потому что боялась машину, совершенно не чувствовала ее и, главное, не чувствовала никакой радости от того, что сидит за рулем и нажимает на педали.

А может быть, дело было в том, что она мгновенно училась только необходимому, а водить машину – это не было необходимо, потому что ее водил Сергей. Анна любила ездить с ним и смотреть, как он это делает.

А потом, когда она перестала ездить с мужем и, словно девчонка, поглядывать на то, как лежат на руле его руки, – у нее уже было достаточно денег, чтобы при необходимости вызывать такси. Так что учиться водить все равно оказалось не нужно, и очень кстати: в ней к тому времени почти угас интерес к новым навыкам и впечатлениям.

А потом она купила для редакции синий «Рено» и взяла на ставку шофера, потому что это было удобно для всех, а не только для нее. Такая возможность появилась к тому времени, когда всякое обустройство собственной жизни уже казалось Анне скучными хлопотами.

На этом синем «Рено» с шофером она и поехала к Матвею.

Вообще-то Анна старалась не слишком докучать сыну своими посещениями. Да и застать его дома было не так уже легко. Характер у ребенка с детства был непоседливый, и, если Матвей не был увлечен книжкой – а это, к счастью, все-таки бывало часто, – то на его присутствие в квартире можно было не рассчитывать, как в детстве, так и теперь. К тому же теперь, если он был дома, то при нем почти наверняка находилась какая-нибудь девица. Анне не то чтобы было это неприятно – с чего бы? – но она не хотела вмешиваться в эту часть жизни сына: помнила, как ей самой претило когда-то такое вмешательство.

Как только он открыл дверь, Анна поняла, что не ошиблась в своем телефонном впечатлении. Матвей действительно был мрачен, и не только мрачен, но как-то… подавлен, что ли. Это было так необычно, так непривычно в нем, что Анна встревожилась еще больше.

– Как ты съездил? – спросила она, целуя его на пороге квартиры. – Я пройду?

– Ты, ма, как будто к королеве Елизавете пришла, – улыбнулся он. – У меня же не Виндзорский замок – проходи без спросу.

Улыбка совсем не оживила его лица. Она даже жалкая какая-то получилась, и глаза не заблестели, как это всегда бывало, когда он улыбался. К тому же он был небрит, и темная щетина придавала ему еще большую мрачность.

В комнате, впрочем, царил обычный для Матвея порядок. Когда-то Анна по пятам ходила за ним и требовала, чтобы он убирал за собой постель – «зачем, все равно же вечером расстилать?!» – чтобы не оставлял свою тарелку в пустой раковине, а мыл ее, чтобы вешал одежду не на спинку стула, а в шкаф и делал еще множество излишних, с его точки зрения, вещей.

Да что Матюша – даже Сергей считал ее настойчивость чрезмерной!

– Смотри, Анюта, – говорил он, – никто еще не доказал, что занудливый мужчина лучше, чем неряшливый.

Но Анна умела добиться от своих мужчин того, чего считала нужным добиваться. Просто она так мало навязывала им в их мужской жизни, что, если уж навязывала, они подчинялись. До поры до времени.

Так оно и вышло, что к тому моменту, когда Матвей стал жить самостоятельно, привычка к порядку въелась в него так же крепко, как привычка к чтению, тоже воспитанная с детства – с тех лет, когда он отбрыкивался от «Трех мушкетеров», уверяя отца, что книга совсем неинтересная, а, наоборот, скучная, потому что в ней все написано какими-то старыми словами.

А занудой он не стал: не в кого было.

– Ты, по-моему, сильно устал, Матюша, – сказала Анна, садясь на диван. – Лицо осунулось… Вас там хотя бы кормили?

– Кормили, – нехотя ответил он. – Кормили, поили и всячески ублажали.

– Всячески – это как? – улыбнулась Анна.

– А то ты не догадываешься, как московское начальство на местах ублажают, – хмыкнул Матвей. – Попросту, без затей – охота, баня, девочки. Извини, мам, – спохватился он. – Совсем я одичал со своим депутатом.

– Но зачем же ты тогда, а, Матвей?.. – тихо спросила Анна. – Все ведь ты понимаешь…

– И что ты мне предлагаешь? – Он прищурился; зеленые сердитые молнии наконец метнулись из глаз. – Да, все я про него понимаю. Обыкновенное хамло, удачливое, потому что наглое. Будьте проще, и люди к вам потянутся, – усмехнулся Матвей. – Ну, а он, депутат мой, – проще некуда. Но что же теперь, ма?

Анна насторожилась от этих его слов, а главное, от унылых интонаций.

– Ты так говоришь, как будто связан с ним какими-то неразрывными узами, – сказала она, всматриваясь в глаза сына. – У тебя с ним… ничего?

Конечно, вопрос прозвучал глупо – Матвей захохотал.

– Это ты про что? – спросил он наконец. – Да ему, мам, не до мальчиков – баб бы всех успеть уестествить. Жадный он до жизни, так и рвет отовсюду куски.

– Я имею в виду не мальчиков, а его деятельность, – не обращая внимания на Матвеев смех, сказала Анна. – Думаешь, я в облаках витаю? Матюшка, да ведь у меня хоть и эстетский, как ты говоришь, и не Бог весть какой прибыльный, но бизнес, а у папы тем более… Неужели мы не понимаем, во что тебя может втянуть этот твой хвататель жизненных кусков? И неужели ты думаешь, мы из-за этого не волнуемся?

– А вы не волнуйтесь, – невозмутимо заметил Матвей; на его лице установилось обычное его лихое выражение. – Я не телок, чтоб меня куда-то можно было на веревочке втянуть.

– Ты молодой еще, Матвей, – стараясь, чтобы ее слова звучали как можно мягче и убедительнее, сказала Анна. – Молодой, страстный, поэтому, уж извини, втянуть тебя можно во что угодно, если кровь твою умело разогреть.

– Но папа же не втягивается, – с тем самым молодым запалом, о котором она и говорила, возразил Матвей. – При чем же тут кровь?

– Матюшка, ты совсем другой, чем папа, – тихо сказала Анна. – Ты на него похож совсем иначе, чем тебе кажется.

– Иначе – это как? – быстро и недоуменно спросил он.

Анна промолчала.

– В общем, ма, не волнуйся, – не дождавшись от нее ответа, заключил Матвей. – Ну, не хочу я, чтоб про меня к тридцати годам говорили, что у меня за спиной большое будущее! И вообще, не хочу на обочине жизнь провести, – добавил он.

– Конечно, помощник депутата – это столбовая дорога жизни! – рассердилась Анна.

И сразу заметила, как тень пробежала по лицу сына и как мгновенно оно снова стало мрачным и растерянным. И тут же ей стало его жаль и расхотелось объяснять ему, что Волга впадает в Каспийское море…

– Будь с ним осторожен, Матюша, – вздохнула она. – Насколько сможешь… – И, уже совсем другим тоном, сказала: – Нет, но я просто не понимаю, как ты вообще мог с ним познакомиться! При каких обстоятельствах?

– При романтических. – Матвей улыбнулся, но теперь улыбка получилась невеселая, и зеленые глаза совсем погасли. – Да я с ним, мам, и не собирался знакомиться. Приехал ночью домой, иду от машины к подъезду – вижу, трое мужиков кого-то ногами метелят. Ну, я им сначала вежливо сказал, что это не есть хорошо, потом объяснил доходчивее. Да ты не бойся! – торопливо добавил он, заметив, что по маминому лицу пробежала тень. – Они не сильно-то на своем и настаивали, сразу согласились с моими аргументами и смылись. А лежачего товарища куда мне было девать? Тем более пьяного в слюни. Пришлось домой

тащить. Так и познакомились. Он, оказывается, у бабы был, потому и охранников отпустил от греха подальше, чтоб жене не настучали. А ребята – те, что его в подъезде подловили, – денег хотели на дозу, так что им его депутатская ксива по фигу оказалась. Ну, я его к супруге отвез, думал, он проспится, назавтра про меня и не вспомнит, а он, видишь…

– И что уж такого особенного он тебе предложил, ради чего надо бросать учебу? – невесело спросила Анна.

– А что бы я без него делал, ма? – так же невесело переспросил Матвей. – Машины из Калининграда гонял и дожидался, пока папа на теплое место пристроит? У нас все мажоры на факультете такие, и я до кучи? А депутат меня хоть в самостоятельные дела направил – бизнес, заводы… Да и научился же я у него кое-чему, – наконец улыбнулся он. – Когда, например, надо сказать: «Пошел на хрен», – а когда: «Извините, мне надо выйти». А этому, между прочим, ни в каком университете не научат. И вообще, – добавил он со смешной молодой серьезностью, – у таких, как он, энергии много. Это заряжает.

– Можно подумать, у тебя энергии мало. – Даже желание предостеречь ребенка от опасных глупостей не могло заставить Анну сдержать улыбку при этих его словах. – А это что у тебя за стакан такой странный? – заметила она.

Анна обрадовалась возможности переключиться на другую тему. Разговоры о депутате не улучшали ее настроения и не объясняли ей, почему Матвей выглядит таким подавленным и встревоженным.

Граненый стакан, стоявший на стеклянном, бутылочного цвета журнальном столике, действительно выглядел необычно. Казалось, что на дне его лежит деталь от какого-то прибора.

– А! – Матвей улыбнулся. – Это дружок мой один изобрел, компьютерный гений. Только дизайн еще не продумал. Видишь, в дно чип вставлен. Когда в стакане меньше половины жидкости остается, он сигнал подает на пульт, и официант бежит добавить.

– Нужная вещь, – улыбнулась Анна.

– Может, и ненужная, а Генка запатентовал, теперь японцам загонит, – пожал плечами Матвей. – Он и сам как японец, всякое такое любит. Видишь, коврик какой мне подарил, из сломанных процессоров – включаешь в розетку, он нагревается. Зимой хорошо.

– А током это не ударит? – опасливо поинтересовалась Анна, разглядывая конструкцию, лежащую на полу у кресла.

– Не волнуйся, – махнул рукой Матвей. – Ток же в нем слабый, двенадцать ватт всего. Да и вообще, по жизни, зря ты за меня волнуешься. Есть же у меня голова на плечах!

– Есть, – кивнула Анна. – Только, по-моему, ты ею не пользуешься.

– Да, ма, – вспомнил Матвей, – можно, я тебе стирку подброшу? Барахла грязного уйма собралась, а стиральная машина, смотрю, пока я ездил, сдохла. Ленка сломала, наверное, – объяснил он. – Она тоже в своем роде гений: даже пультом от телевизора пользоваться не умела. Ну, может, у нового друга теперь научится.

– Это та, с которой я тебя в электричке встретила? – поинтересовалась Анна.

– Да ты что, мам! – засмеялся Матвей. – Как же – та? Это когда было-то, что я по электричкам ходил? Нет, тогда, кажется, Ксюша была, а Ленка уже потом, после Галки и даже после Камиллы.

– Матюшка, перестань! – Анна засмеялась и замахала руками. – Ты что, специально надо мной издеваешься? Как павлин, а еще мужчина, – поддела она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/berseneva_anna/yabloki-iz-chuzhogo-raya

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити